№. 15. ВТОРНИКЪ, 21 ФЕВРАЛЯ. 1861. WTOREK, 21 LUTEGO. Nr. 15

ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ

ОФФИЦІАЛЬНАЯ ГАЗЕТА.

„ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ“ выходитъ по ВТОРНИКАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

Цѣна за годъ	10 р.
„ „ съ пересылкою	12 „
„ за полъ года	5 „
„ „ съ пересылкою	6 „
„ на четверть года	2 „ 50 к.
„ „ съ пересылкою	3 „
за 1 мѣсяцъ	1 „

За объявленія плотится за строку 17 к. сер.

Контора редакціи въ Вильнѣ, на Дворцовой улицѣ, въ Гимназіальномъ домѣ.

KURYER WILEŃSKI

GAZETA URZĘDOWA.

„KURYER WILENSKI“ wychodzi co WTOREK i PIĄTEK.

WARUNKI PRZEDPŁATY.

Cena roczna	rs. 10
„ „ z przesyłką	„ 12
„ półroczna	„ 5
„ „ z przesyłką	„ 6
„ kwartalna	„ 2 k. 50.
„ „ z przesyłką	„ 3
„ miesięczna	„ 1

Za ogłoszenia płaci się za każdy wiersz druku po kop. 17.

Bióro redakcji w Wilnie, przy ulicy Biskupiéj (Dworcowéj), w murach po-uniwersyteckich.

СОДЕРЖАНІЕ:

Внутреннія извѣстія: Высоч. награды, —О дозволеніи и воспрещеніи въѣзда въ Россію.—Вильно: 18 и 19 февраля.—Объ устройствѣ слугъ въ Вильнѣ.—Пожертвованіе въ пользу Остробрамской школы.

Иностранныя извѣстія: Общее обозрѣніе.— Италія.— Франція.— Англія.—Австрія.—Телеграфныя депеши.

Литерат. отдѣлъ: Возраженія гг. Гинзбурга и Веселовскаго.—Поѣздка въ Африку—А Залѣскаго.—Обозрѣнія: литературное, всеобщее, земледѣльческое.—Выдержки изъ газетъ и журналовъ.—Письма: изъ С. Петербурга, изъ Вильна, изъ Кенигсберга.— Вилен. дневникъ.— Объявленія.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Ст.-Петербургъ, 16 февраля.

— Высочайшими указами, даными капитулу Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ, Всемилостивѣйше пожалованы кавалерами: ордена св. Анны 2-й степени: 1860 года августа 24—исправляющій должность предсѣдателя Подольской палаты уголовнаго суда, коллежскій совѣтникъ Валеріанъ *Андреевъ* и предсѣдатель Витебской палаты гражданскаго суда подполковникъ Адамъ *Могучій*, по засвидѣтельствованію начальства объ отлично-усердной службѣ и особыхъ трудахъ, согласно удостоенію комитета министровъ;— ордена св. Станислава 2-й степени, Императорскою короною украшеннаго, 25 августа—главный докторъ Кіевскаго военнаго госпиталя медико-хирургъ, статскій совѣтникъ Иванъ *Мейснеръ* и главный лекарь Могилевскаго военнаго госпиталя докторъ медицины, коллежскій совѣтникъ Николай *Скаковскій*, въ воздаяніе отлично-усердной и ревностной службы.

— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше соизволилъ разрѣшить, вступившему въ Прусское подданство, уроженцу Ковенской губерніи, доктору медицины, Симону *Гольдштейну*, временной пріѣздъ въ Россію, въ качествѣ иностранца.

— Г. Министръ внутреннихъ дѣлъ увѣдомилъ г. Виленскаго военнаго, Гродненскаго и Ковенскаго генералъ-губернатора о воспрещеніи въѣзда въ Россію, исключенному изъ подданства, еврею Маркусу Фридману, коего примѣты слѣдующія: лѣтъ отъ роду 26, росту 2 арш. 6 верш., волосы на головѣ, брови и борода черные, глаза каріе, лице продолговатое, носъ обыкновенный, ротъ средній, подбородокъ круглый. Особыя примѣты: цвѣтъ лица блѣдный, худощавъ.

ВИЛЬНО.

18 февраля, членомъ святѣйшаго правительствующаго сунода, высокопреосвященнымъ Іосифомъ, митрополитомъ Литовскимъ и Виленскимъ, въ церкви св. Троицкаго монастыря совершена была божественная литургія и послѣ оной паннихида за упокой души въ Бозѣ почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I.

19 февраля, въ высокоторжественный день восшествія на престолъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ 10 часовъ утра, его высокопревосходительство, главный начальникъ края, изволилъ принимать поздравленія гг. военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ и дворянства. Въ 11 часовъ утра, въ церкви св. Троицкаго монастыря высокопреосвященнымъ митрополитомъ, совершена была, соборнѣ, божественная литургія, и послѣ оной благодарственное Господу Богу о здравіи и долгоденствіи ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и всего Царствующаго дома съ колѣнопреклоненіемъ молебствіе, при колокольномъ звонѣ и 101 пушечномъ выстрѣлѣ.

Въ тоже время въ Р. К. каѳедральномъ соборѣ св. Станислава, преосвященнымъ Виленскимъ епархіальнымъ епископомъ Адамомъ Станиславомъ Красинскимъ,

СТРЕŚĆ:

Wiadomości krajowe: Najwyższe nagrody — O pozwoleniu i wzbronieniu wjazdu do Rossji. — Wilno 18 i 19 lutego.— O urządzeniu sług w Wilnie. — Ofiary na korzyść ostrobramskiéj szkoły.

Wiadomości zagraniczne: Pogląd ogólny.—Włochy.— Francja. — Anglja. — Austrja.— Księstwa Naddunajskie.— Depesze telegraficzne.

Dział literacki: Zarzuty pp. Ginsburga i Wiesiołowskiego,— Wycieczka do Afryki — A. Zaleskiego.. — Przeglądy: literacki, wszechstronny, rolniczy i pism czasowych. — Listy: z Petersburga, z Wilna, z Królewca.— Dziennik Wileński.— Ogłoszenia.

WIADOMOŚCI KRAJOWE.

St.-Petersburg, 16 lutego.

— Przez Najwyższe ukazy, dane do kapituły Rossyjskich Cesarskich i Królewskich orderów, Najłaskawiéj zostali mianowani kawalerami: orderu św. Anny 2-éj klassy: 1860 roku sierpnia 24-go—pełniący obowiązek prezydenta Podolskiéj izby sądu kryminalnego, radca kollegjalny Walerjan *Andrejew*, i prezydent Witebskiéj izby sądu cywilnego, podpułkownik Adam *Mohuczy*, na zaświadczenie zwierzchności o odznaczającéj się gorliwéj służbie i szczególnéj pracy, stosownie do uznania komitetu ministrów. Orderu św. Stanisława 2-éj klassy, Cesarską koroną ozdobionego: sierpnia 25-go—główny doktor Kijowskiego szpitala wojskowego, medyko-chirurg, radca stanu Jan *Mejsner* i główny lekarz Mohylewskiego szpitala wojskowego, doktor medycyny, radca kollegjalny Mikołaj *Skakowski*; w nagrodę odznaczającéj się gorliwéj służby.

— CESARZ JEGO MOŚĆ Najwyżéj raczył pozwolić urodzonemu w gubernji Kowieńskiéj doktorowi medycyny Symonowi *Goldsztejnowi*, który przyjął poddaństwo pruskie, czasowy przyjazd do Rossji, w charakterze cudzoziemca.

— Pan minister spraw wewnętrznych uwiadomił p. Wileńskiego wojennego, Grodzieńskiego i Kowieńskiego jenerał-gubernatora o wzbronieniu wjazdu do Rossji wykreślonemu z poddaństwa żydowi Markusowi *Frydmanowi*, którego rysopis jest następujący: wieku lat 26, wzrostu 2 arsz. 6 cali, włosy na głowie, brwiach i brodzie czarne, oczy ciemne, twarz ściągła, nos i usta zwyczajne, podbródek okrągły; szczególne rysy: twarzy bladawéj, chudy.

WILNO.

Dnia 18 lutego, członek najświętobliwszego rządzącego synodu, jaśnie wielmożny Józef, metropolita Litewski i Wileński, w cerkwi klasztoru Swiętéj Trójcy miał mszę świętą, po któréj odprawił nabożeństwo żałobne za duszę spoczywającego w Bogu CESARZA MIKOŁAJA I.

Dnia 19-go lutego, w uroczystą rocznicę wstąpienia na tron NAJJAŚNIEJSZEGO CESARZA ALEKSANDRA II, w tejże cerkwi, o godzinie 11 zrana, przez jaśnie wielmożnego metropolitę, odprawiona była, w assystencji, msza święta, i następnie dziękczynne do Pana Boga modły o zdrowie i długie lata dla JEGO CESARSKIEJ MOŚCI i całego Domu Panującego, z przyklęknieniem, śród zwykłych wystrzałów działowych 101 razy.

Jednocześnie w katedralnym kościele Rzymsko-Katolickim pod wezwaniem św. Stanisława, jaśnie wielmożny Wileński biskup diecezalny Adam Stanisław Krasiński, w assystencji całéj kapituły, jak rów-

ВОЗРАЖЕНІЕ

на статью Ковенскаго корреспондента.

Въ N. 6 Виленскаго Вѣстника появилась изъ Ковна отъ 10 января, безъ подписи автора, статья, служащая новымъ опроверженіемъ статьи моей, помѣщенной въ 28 N. журнала Разсвѣта. Эта самая статья получена изъ Ковна же и отъ 10 января отъ В. Н. Веселовскаго въ редакціи С. П. вѣдомостей, и помѣщена въ 19 N. того изданія.—Въ статьѣ первой газеты, авторъ, видно, за то не объявилъ своего имени, что позволилъ себѣ заключить свою корреспонденцію позорнымъ оклеветаніемъ меня.

Не касаюсь цѣлаго расказа г. Веселовскаго, о сущности котораго, какъ и прочихъ разсказовъ о еврейкѣ Ципкѣ Мендакъ, перепечатываемыхъ во многихъ періодическихъ изданіяхъ,—тутъ неумѣстно входить; спрошу только этого корреспондента, почерпнувшаго, какъ видно, свой расказъ, большею частью изъ рапорта гг. Толстаго и Герштейна, и знающаго по этому хорошо, что похищеніе еврейской дѣвушки Ципки Мендакъ я сдѣлалъ гласнымъ, основываясь на формально занесенную родителями ея жалобу къ начальству и на общій слухъ, подтверждающій несомнительность событія,—спрошу его, по какому поводу меня онъ во всеуслышаніе признаетъ *необузданнымъ, пылкимъ, фанатическимъ?* Не могло ли *возмущающее* душу происшествіе возбудить во мнѣ такое же состраданіе къ себѣ, какое возбудило во всѣхъ соотечественникахъ? И не изъ сочувствія ли къ этому печальному случаю, г. главный начальникъ края, командировавъ адъютанта Толстого и ученаго еврея Герштейна для изслѣдованія факта, на мѣсто событія; изволилъ имъ предписать, возвратить захваченнаго ребенка родителямъ, еслибы оный дѣйствительно находился у священника Мацевича? И дѣйствительно, взглянувъ съ настоящей общечеловѣческой точки зрѣнія на это расторженіе семейныхъ узъ и лишеніе родительскаго права, кто можетъ остаться равнодушнымъ. Но не удивительно, если Ковенскій корреспондентъ, односторонній и нерасположенный къ всякимъ соболѣзнованіямъ, грянулъ на меня клевстою; но по какому, спрошу его, юридическому праву и на какомъ основаніи меня обвиняетъ онъ въ захватѣ изъ Тельшевской акцизной конторы денегъ, не имѣя на то ни малѣйшихъ доказательствъ, ни фактовъ? Могъ бы я думать, что при сочиненіи этого эксцентрическаго обвиненія, Ковенскій корреспондентъ съумѣлъ руководствоваться какою нибудь сущностью, я бы ему сообщилъ, можетъ быть, къ его отчаянію, что та же Контора, которой онъ приписываетъ несчастіе, сама объявила несправедливымъ такое обвиненіе. И откуда же беретъ этотъ корреспондентъ что я въ недавнее только время освобожденъ изъ подъ ареста? Спросилъ бы кого нибудь изъ здѣшнихъ, и узналъ бы по крайней мѣрѣ, что оставивъ занятія по Тельшевской конторѣ лѣтомъ 1859 года, я съ того времени по сей день нахожусь при моихъ родителяхъ, въ Ново-александровскѣ.

Увлеченный-то сильною ненавистью къ неединовѣрцу, Ковенскій корреспондентъ самъ рекомендуется читающей публикѣ не только *необузданнымъ, пылкимъ* и *фанатическимъ*, но и недобросовѣстнымъ и перешагнувшимъ предѣлы всякаго приличія и современныхъ нравовъ.

Въ одной изъ фразъ своихъ, Ковенскій корреспондентъ говоритъ, чтобы придать очень обыкновенному происшествію *баснословно-чудовищные* размѣры, не нужно большаго таланта, а нужна только извѣстная доля безсовѣстности и неуваженія къ обществу—соглашаюсь, но согласится со мною и читающая публика, что нуженъ еще меньшій талантъ, и что надо запастись хорошею дозою безсовѣстности и неуваженія къ обществу, чтобы безъ всякой цѣли, во всеуслышаніе оклеветать человѣка—*вовсе* незнакомаго.

Если по мнѣнію того же корреспондента, признавъ меня преступникомъ, для меня долженъ быть огражденъ путь къ гласности, то я ему совѣтую, если дорожитъ онъ ею, пускай будетъ осмотрительнѣе въ подобныхъ аргументахъ, а то, пожалуй, я или другой вздумаетъ завтра собирать справки и о немъ, можетъ и онъ лишится права на гласность; и что можетъ тогда статься съ нашею гластностью! Но я думаю, что Ковенскій корреспондентъ, своимъ поборствомъ еще менѣе меня принесъ вожделѣнные плоды на поприщѣ гласности; по крайней мѣрѣ я, *противоположною всякимъ началамъ* фанатизма статьею моею, нисколько не думалъ кого угнетать, а напротивъ, думалъ предложить руку помощи угнетеннымъ,—и, можетъ быть не безъ успѣха, ибо дѣло Мендака, взяло большой оборотъ, во многихъ отношеніяхъ, и еще неизвѣстенъ результатъ самаго дѣла;—а онъ-то, можетъ похвастаться развѣ тѣмъ только, что сдѣлалъ гласнымъ свое авторство, обогащенное тремя огнедышущими выраженіями: необузданность пылкость и фанатизмъ. Пускай же не опасается очень? Ковенскій корреспондентъ будущности гласности, тѣмъ болѣе, что такой недобросовѣстный борецъ какъ онъ, въ сферѣ гласности, надѣемся, останется только феноменомъ.

Въ заключеніе я долженъ спросить Ковенскаго корреспондента, почему, если *законъ долженъ быть уважаемъ всѣми*, почему дерзнулъ меня такъ опозорить и почему меня такимъ рѣшительнымъ тономъ признаетъ преступникомъ, когда непризнало меня таковымъ судебное мѣсто?

Уважаемую редакцію Виленскаго вѣстника, гдѣ статья г. Ковенскаго корреспондента встрѣтила благосклонный пріемъ и заняла такое большое мѣсто, покорно прошу. на уступить уголокъ и моему возраженію, на эту статью.

М. Гинзбургъ.

Февраля 1 дня 1861 года, г. Ново-Александровскъ.

— Напечатавъ настоящую статью г. Гинзбурга, считаемъ долгомъ помѣстить здѣсь и письмо В. И. Веселовскаго изъ Ковна, въ которомъ ближайшимъ образомъ разъяснены обстоятельства подсудности г. Гинзбурга.

„М. Г. Не считая себя въ правѣ принимать какое либо посредственное участіе въ разъясненіи грустнаго факта о Ципкѣ Мендакъ, которое шло, опираясь, на звонъ и на данныя, собранныя оффиціяльнымъ путемъ, я имѣлъ возможность видѣть всѣ документы, на основаніи которыхъ составлена напечатанная въ N. 6 Виленскаго Вѣстника статья.

Передавая послѣднюю въ редакцію Виленскаго Вѣстника и Сѣверной Пчелы съ цѣлью разъясненія дѣла, которому, конечно, нельзя отказать въ глубокомъ интересѣ, я тѣмъ самымъ *браль на себя и всю нравственную* отвѣтственность и отвѣтственность по законамъ за согласіе оффиціальныхъ данныхъ съ тѣми, на основаніи которыхъ была составлена самая статья.

Г. Гинзбургъ, какъ видно изъ вашего письма ко мнѣ отъ 6 февраля, остался недоволенъ обвиненіемъ его въ подсудности, какъ обвиненіемъ несправедливымъ.

Я считаю себя не вправѣ отклонить отъ себя посредственную обязанность представить оффиціальныя данныя, которыя, послужили поводомъ къ этому обвиненію.

2 апрѣля 1859 г. управляющій акцизнымъ откупомъ 2 гильдіи купеческій внукъ, Афанасій, Венгеровъ подалъ г. начальнику губерніи слѣдующее прошеніе:

„Кассиръ акцизной конторы Тельшевскаго уѣзда, Новоалександровскій 3 гильдіи купеческій сынъ, Менко Шаевичъ Гинзбургъ, забравъ съ собой значительную сумму откупныхъ денегъ изъ означенной кассы, бѣжалъ неизвѣстно куда.“

„Для огражденія откупа.... проситъ сдѣлать распоряженіе о повсемѣстномъ опубликованіи этого обстоятельства, и задержаніи его, Гинзбурга, съ похищенными имъ деньгами, гдѣ бы онъ не скрылся, и высылкѣ его въ Ковно, для поступленія съ нимъ по закону.“

4 мая того же года Тельшевскій земскій судъ, вслѣдствіе циркулярнаго предписанія, рапортомъ за N. 5588, донесъ г. начальнику губерніи, что кассиръ Гинцбургъ захваченъ и содержится въ Тельшевской тюрьмѣ.

Вотъ данныя, которыя были въ виду до напечатанія статьи о Ципкѣ Мендакъ въ Виленскомъ Вѣстникѣ.

Слѣдующія, имѣющіяся по дѣлу данныя, доставлены уже нѣсколько позже.

Изъ рапорта Тельшевскаго уѣзднаго стряпчаго отъ 20 января 1861 г. видно, что поводами къ обвиненію Гинзбурга въ захватѣ суммъ, принадлежащихъ откупу, были: самовольный отъѣздъ Гинзбурга 31 марта 1859 г. въ Новоалександровскъ, донесеніе служителя откупа, Троцкаго, о захватѣ имъ откупной суммы, и сверхъ того, письмо на еврейскомъ языкѣ, найденное въ кассовомъ сундукѣ. Въ письмѣ этомъ, подписанномъ именемъ Гинзбурга, увѣдомлялось, что конторскія деньги кѣмъ то похищены, и что онъ, опасаясь непріятныхъ послѣдствій, заставленъ былъ уѣхать.

Г. Гинзбургъ вскорѣ задержанъ былъ акцизными служителями въ г. Ригѣ и арестованъ, при содѣйствіи полиціи. При немъ найдено было 1789 руб. Управляющій Рабиновичъ сталъ доказывать г. Гинзбургу, что по разсчету кассы пропало денегъ 2532 р. 70½ коп., и что всѣ эти деньги находились въ непосредственномъ вѣдѣніи Гинзбурга, какъ кассира.

Дѣло принято чисто-слѣдственный характеръ.

Между тѣмъ, по предписанію г. министра финансовъ отъ 9 іюля 1859 г., основанному на Высочайшемъ повелѣніи, акцизные сборы по Ковенской губерніи взяты въ казенное управленіе.—Мѣстное постановленіе о томъ состоялось въ Ковенской казенной палатѣ 21 и 23 іюля 1859 года.

Не трудно догадаться, что всѣ суммы откупа и его претензіи переходили уже къ казнѣ.

24 іюля того же года акцизная контора, отзывомъ за N. 381, увѣдомила Тельшевскую городовую ратушу, что на уличеніе Гинзбурга въ присвоеніи имъ конторскихъ денегъ, никакихъ доказательствъ не имѣетъ и ему доказать того не въ состояніи; за тѣмъ и объявленную управляющимъ Рабиновичемъ претензію нынѣ совершенно прекращаетъ.

Знакомому съ характеромъ нашего законодательства извѣстно, что прекращеніе подобнаго рода дѣлъ не зависитъ отъ произвола истца.

Ратуша, въ избѣжаніе изнуренія г. Гинзбурга тюреннымъ содержаніемъ, постановила—отдать его на поручительство.

Въ настотщее время дѣло о Гинзбургѣ находится для дополненія въ Динабургскомъ городническомъ правленіи, въ вѣдомствѣ котораго проживаетъ семейство г. Гинзбурга.

Представивъ обстоятельства, послужившія къ обвиненію г. Гинзбурга, мы не беремъ на себя какъ и прежде тяжелой обязанности быть его обвинителями.

Вотъ факты, которые могутъ служить и оправданіемъ для г. Гинзбурга.

Письмо, найденное въ сундукѣ кассы, по свидѣтельству казеннаго раввина и двухъ учителей-евреевъ, оказалось написаннымъ не почеркомъ г. Гинзбурга.

Г. Гинзбургъ предъявилъ споръ о томъ, что конторскія книги велись не имъ, а самымъ управляющимъ Рабиновичемъ.

Г. Гинзбургъ доказываетъ, что онъ имѣлъ свой собственный капиталъ, и найденныя при немъ деньги принадлежатъ ему.

Дальнѣйшіе результаты зависятъ отъ судебнаго разсмотрѣнія.

Вотъ почему мы согласны съ совѣтомъ статьи, помѣщенной въ 6 N. В. В., чтобы г. Гинзбургъ былъ осторожнѣе въ своихъ колкихъ замѣчаніяхъ на законъ. *Для полнаго безпристрастія необходимо было предварительно* высвободиться изъ подъ того вліянія его, которое мы называемъ *уголовнымъ.*

Примите и пр. *Влад. Веселовскій.*

Г. Ковно, февраля 14 дня 1861 г.

въ сослуженіи цѣлаго капитула, а равно и во всѣхъ храмахъ другихъ исповѣданій совершены были благодарственныя молебствія.

Въ 3 часа по полудни у его высокопревосходительства, господина Виленскаго военнаго, Гродненскаго и Ковенскаго генералъ-губернатора, генерала отъ инфантеріи, генералъ-адъютанта Владиміра Ивановича Назимова былъ большой обѣденный столъ.

Въ вечеру, во время представленія въ театрѣ, здѣшними артистами исполненъ былъ народный гимнъ: „Боже, Царя храни!“

Городъ былъ иллюминованъ.

Копія съ предложенія, даннаго господиномъ Виленскимъ военнымъ, Гродненскимъ и Ковенскимъ генералъ-губернаторомъ г. начальнику Виленской губерніи отъ 16 сего Февраля за N. 1558 *).

Крайній недостатокъ въ пріисканіи людей, добросовѣстно исполняющихъ обязанности частной службы въ Вильнѣ, давно уже заставилъ меня обратить на этотъ важный предметъ особенное вниманіе. Посему, чтобы устроить классъ вредныхъ праздношатальцевъ, обуздать его наглое своеволіе и внушить ему должное послушаніе къ лицамъ, которые вправѣ сего требовать взамѣнъ значительной по найму денежной издержки, составленъ былъ въ управленіи моемъ проектъ особаго о служителяхъ положенія, внесенный на утвержденіе господина министра внутреннихъ дѣлъ, въ августѣ 1859 года. Впослѣдствіи, вопросъ о настоятельной необходимости осуществить предположенныя правила, хотя возбужденъ былъ также и начальникомъ Ковенской губерніи, поставившій меня въ обязанность возобновить означенное ходатайство въ февралѣ и декабрѣ 1860 года, но утвержденіе проекта сихъ правилъ еще не послѣдовало.

Убѣждаясь нынѣ изъ общаго ропота жителей на невыносимыя дерзости, неповиновеніе, лѣность, своеволіе и развращеніе въ Вильнѣ слугъ, не связанныхъ никакими положительными правилами и отвѣтственностью, особенно женскаго пола, чему служатъ доказательствомъ обнаруживающіяся въ послѣднее время значительныя кражи, происходящія именно отъ самой домашней прислуги, я, въ видѣ временной мѣры для огражденія жителей, переносящихъ крайнія стѣсненія и убытки, призналъ необходимымъ, до разрѣшенія высшимъ правительствомъ проекта постоянныхъ правилъ о частной прислугѣ, принять нынѣ же въ отношеніи къ этому, погрязшему въ порокахъ сословію, слѣдующія мѣры:

1) Немедленно обязать мѣстную городскую полицію, чтобы она, начиная съ наемныхъ слугъ, *въ домѣ моемъ находящихся*, приведя въ точную извѣстность всѣ роды частной присуги, какъ то: лакеевъ, поваровъ, кучеровъ, дворниковъ, горничныхъ, кухарокъ и прачекъ, проживающихъ ли у домовладѣльцевъ, или и у другихъ жителей г. Вильно, составила симъ слугамъ и служанкамъ именный списокъ, означивъ противъ каждаго, какого онъ званія, у кого служитъ, въ какой обязанности и какой имѣетъ видъ на жительство.

2) Какъ возложеніе этой обязанности исключительно на чиновниковъ полиціи, обремененныхъ и безъ того разнородными занятіями по службѣ, могло бы повести къ разнымъ погрѣшностямъ, и потому затруднить достиженіе предположенной цѣли, то пригласить самихъ домовладѣльцевъ и другихъ жителей, оказать начальству необходимое въ настоящемъ дѣлѣ содѣйствіе, для собственной ихъ пользы, заявляя неупустительно Виленскому полиціймейстеру, обо всей мужеской и женской прислугѣ, состоящей у нихъ въ услуженіи.

3) По приведеніи такимъ образомъ въ извѣстность всѣхъ людей, занимающихся въ городѣ частною службою, полиція должна будетъ отобрать у нихъ, для храненія, паспорты и другіе законные виды, а въ замѣнъ ихъ выдать, какъ иногороднымъ, такъ и приписаннымъ къ Вильно, каждому на руки, дозволительныя свидѣтельства на право жительства и службы въ городѣ, за подписью Виленскаго полиціймейстера. Такой порядокъ принять и относительно людей, вновь прибывающихъ сюда на службу.

4) Всѣмъ слугамъ и служанкамъ, которымъ выданы будутъ особые виды отъ полиціи, составить и имѣть въ оной общій списокъ, для надлежащаго о числѣ ихъ свѣдѣнія, а копію съ онаго представить къ личному моему разсмотрѣнію, отнюдь не далѣе 15 будущаго марта.

5) Тѣхъ иногородныхъ людей, которые, при настоящей повѣркѣ, не предъявятъ установленныхъ видовъ, полиція обязана будетъ выслать, за надлежащимъ присмотромъ, немедленно, къ мѣстамъ ихъ приписки.

6) Въ случаѣ, если бы нанявшійся слуга, или служанка оказались неодобрительнаго поведенія, или замѣчены были въ воровствѣ, дерзости, нерадѣніи и вообще въ неблаговидныхъ поступкахъ, то хозяинъ, съ удаленіемъ отъ себя порочной прислуги, долженъ заявить о томъ письменно на самомъ, выданномъ отъ городской полиціи, свидѣтельствѣ.

7) Если о которомъ либо служителѣ или служанкѣ дурная аттестація повторится до трехъ разъ, то хозяину, дѣлающему послѣднюю, слѣдуетъ предварить о томъ полицію.

8) Полиція, по полученіи такого засвидѣтельствованія, обязана,— если служащій или служащая приписаны къ жителямъ города,—отобрать свое дозволительное свидѣтельство, возвратить прежній видъ и сдѣлать на немъ надпись, что за такого то человѣка, оказавшагося не благонадежнымъ къ службѣ, полиція не принимаетъ на себя болѣе ручательства и отвѣтственности; если же опороченные принадлежать будутъ къ сословіямъ иногородныхъ, то поступивъ съ ними, какъ выше сказано, высылать ихъ, безъ всякаго послабленія и потери времени, за подлежащимъ присмотромъ, въ мѣста приписки, подвергая, кромѣ того, какъ однихъ, такъ и другихъ, смотря по мѣрѣ вины, и положительно доказанныхъ въ основательности жалобъ со стороны домовладѣльцевъ и жителей, законному, по своему усмотрѣнію, исправительному наказанію, сообразно правамъ состоянія каждаго.

9) Въ случаѣ жалобъ слугъ на домовладѣльцевъ и жителей, у которыхъ первые будутъ находиться по найму въ услуженіи, вмѣнить полиціи въ обязанность, подвергать такія жалобы ближайшему, словесному разбирательству и оказывать обиженнымъ справедливую защиту и удовлетвореніе.

Сообщая объ этомъ вашему превосходительству, имѣю честь покорнѣйше просить васъ, милостивый государь, сдѣлать распоряженіе, чтобы указанныя выше мѣры приведены были по г. Вильно въ точное исполненіе, что и возложить на личную, непосредственную обязанность и отвѣтственность мѣстнаго полиціймейстера, полковника Васильева.

— Въ дополненіе къ вѣдомости о приходѣ и расходѣ денегъ на содержаніе Остробрамской школы рукодѣлія св. Маріи въ продолженіи 1860 г. присовокупляется, что содержатели Виленской еврейской типографіи, вдова Дебора, Янкель и Манесъ Роммы и повѣренный ихъ, купецъ Іосифъ Таркавы, пожертвовали въ пользу сказанной школы 533 руб. 33 коп., изъ которыхъ 200 руб. наличныхъ денегъ, полученныя 21 декабря и записанныя приходомъ въ ст. 72, входятъ въ сумму 900 р. внесенныхъ ея высокопревосходительствомъ попечительницею школы, остальныя же 333 р. 33 к., считающіяся по билету, будутъ вытребованы изъ приказа.

(*) Такія же предложенія даны гг. начальникамъ Ковенской и Гродненской губерній.

O godzinie 3-ej po południu, u jaśnie wielmożnego jenerał-gubernatora, jenerała piechoty, jenerał-adjutanta Nazimowa był wielki obiad.

Wieczorem, w czasie przedstawienia w teatrze, przez artystów tutejszych wykonany był hymn narodowy: „Boże, zachowaj Cesarza.“

Miasto było oświecone.

Kopja polecenia, danego przez pana Wileńskiego wojennego, Grodzieńskiego i Kowieńskiego jenerał-gubernatora, panu naczelnikowi gubernji Wileńskiéj pod dniem 16 teraź. lutego za N. 1558 *).

Największa trudność w wyszukaniu ludzi, sumiennie pełniących obowiązki służby prywatnéj w Wilnie, dawno już zmusiła mię na ten ważny przedmiot szczególniejszą zwrócić uwagę. Jakoż, w celu uporządkowania klassy szkodliwych próżniaków wałęsających się, okiełznania jéj swawoli zuchwałéj i wpojenia w nią należnego posłuszeństwa ku osobom, które mają prawo tego żądać w zamian za znaczne koszta pieniężne na najęcie ponoszone, w zarządzie moim ułożony został projekt osobnéj ustawy o służących, panu ministrowi spraw wewnętrznych w sierpniu 1859 roku na utwierdzenie przedstawiony. Następnie, zagadnienie o naglącéj potrzebie przyprowadzenia do skutku przepisów zamierzonych, podniesione także przez naczelnika gubernji Kowieńskiéj, zmusiło mię ponowić owe staranie w lutym i grudniu 1860 roku, atoli dotychczas jeszcze nie nastąpiło utwierdzenie projektu tych przepisów.

Obecnie z powszechnego narzekania mieszkańców na trudne do zniesienia zuchwalstwa, nieposłuszeństwo, lenistwo, krnąbrność i rozpustę w Wilnie sług, niehamowanych żadnemi stałemi przepisami i odpowiedzialnością, szczególniéj płci żeńskiéj, za dowód czego służą zdarzające się w ostatnich czasach kradzieże znaczne, przez domową właśnie służbę popełniane, —przekonywając się o niezbędnéj potrzebie rychłego zaradzenia, przez wzgląd na dobro mieszkańców na największe nieprzyjemności i straty narażonych, uznałem za rzecz konieczną, nim wyższa zwierzchność projekt stałych przepisów, o posłudze prywatnéj potwierdzi, tymczasem względem téj klassy zepsutéj, natychmiast przedsięwziąć środki następujące:

1) Miejscową policję miejską niezwłocznie zobowiązać, iżby, zaczynając od sług najemnych *w domu moim znajdujących się*, przyprowadziwszy do należytéj wiadomości wszystkie rodzaje posługi prywatnéj, jako to: lokajów, kuchmistrzów, furmanów, stróżów, pokojowek, kucharek i praczek, bądź u właścicieli domów, bądź też u innych mieszkańców miasta Wilna zostających, sporządziła dokładną listę tych służących, zapisując każdego i każdéj stan, powołanie, u kogo zostają, rodzaj służby i za jakiem mieszka świadectwem.

2) Ponieważ włożenie tego obowiązku wyłącznie na urzędników policji, i bez tego różnorodną czynnością służby obarczonych, mogłoby rozmaite uchybienia za sobą pociągnąć, i stać się przez to przeszkodą ku osiągnieniu zamierzonego celu, przeto zawezwać właścicieli domów i innych mieszkańców, iżby też sami o ile można dopomagali ku temu, dla własnego dobra, uwiadamiając koniecznie policmejstra o całéj posłudze męzkiéj i żeńskiéj, jaka się u nich znajduje.

3) Po wyświeceniu tym sposobem wszystkich zajmujących się w mieście służbą prywatną, policja obowiązana będzie, dla przechowania u siebie, zabrać od nich pasporta i inne świadectwa prawne, i natomiast tak tym którzy są z prowincji, jako i zapisanym w m. Wilnie, wydać każdemu do rąk książeczkę czyli świadectwo na prawo mieszkania i służenia w mieście, za podpisem policmejstra Wileńskiego. Tenże sam porządek zachowywać i względem nowoprzybywających potém na służbę ludzi.

4) Wszystkich obojéj płci służących, którym policja osobne świadectwa wyda, sporządzić i utrzymywać ogólną listę, dla należytéj wiadomości o ich liczbie, i jéj kopję przedstawić mi do osobistego mojego rozpatrzenia, nie późniéj jak 14 następującego marca.

5) Mieszkańców innych wsi lub miast, którzy przepisanych pasportów lub innych świadectw stanu nie złożą, policja obowiązana będzie niezwłocznie wysłać, pod należytym dozorem, do właściwego miejsca, gdzie są zapisani.

6) W razie, gdyby zostający w obowiązku sługa lub służąca, okazali się nagannego prowadzenia, lub zostali zanotowani w kradzieży, zuchwalstwie, lenistwie i w ogólności w złych postępkach, tedy gospodarz, wydaliwszy złą posługę, obowiązany jest wymienić to w świadectwie przez policję ziemską wydaném.

7) Jeżeli którykolwiek służący lub służąca trzykrotnie otrzymają złą atestację, tedy gospodarz czyniący ostatnią, powinien zawiadomić o tém policję.

8) Policja po otrzymaniu takiego poświadczenia, powinna, jeżeli służący lub służąca należą do mieszkańców miasta, odebrać wydane przez się świadectwo, powrócić pasport lub poświadczenie dawniejsze z napisem, że za taką to osobę, która okazała się niepewną w służbie, policja nadal nie ręczy i odpowiedzialną być nie może; jeżeli zaś naganni słudzy będą należeli do gmin innych, tedy postąpiwszy z nimi jak wyżéj powiedziano, wysłać ich bez żadnego względu i straty czasu, pod należytym dozorem, do miejsca gdzie są zapisani, skazując prócz tego, tak tych jako i owych, stosownie do wielkości przewinienia i udowodnionéj słuszności skargi gospodarza, na przepisaną prawem, według swéj uwagi, karę poprawczą, stosownie do praw stanu każdego.

9) W razie jeżeli słudzy podadzą skargę na gospodarza swego, zalecić, iżby policja wchodziła w bliższe słowne zbadanie i okazywała prawdzonym słuszną obronę i zadośćuczynienie.

O czém uwiadamiając jaśnie wielmożnego pana, mam honor najpokorniéj prosić go o wydanie rozporządzenia w tym celu, iżby wskazane wyżej środki najściśléj w m. Wilnie były wykonane, co też włożyć na osobisty, bezpośredni obowiązek i odpowiedzialność miejscowego policmejstra, pułkownika Wasiljewa.

— Ku uzupełnieniu wiadomości o przychodzie i rozchodzie pieniędzy na utrzymanie Ostrobramskiéj szkoły rękodzieł św. Marji w ciągu 1860 roku dodaje się, że właściciele Wileńskiéj drukarni żydowskiéj, wdowa Debora, Jankiel i Manes Rommowie i ich pełnomocnik kupiec Józef Harkawy, na rzecz téj szkoły ofiarowali 533 rub. 33 kop., z których 200 rubli gotówką, otrzymane 21 grudnia i w przychod 72-m art. zapisane, objęte są w summie 900 rub. przez jaśnie wielmożną kuratorkę szkoły złożonéj; pozostałe zaś 333 rs. 33 kop., liczące się za biletem, będą wypotrzebowane z urzędu powszechnego opatrzenia.

(*) Takież polecenia dane zostały pp. naczelnikom gubernji Kowieńskiéj i Grodzieńskiéj.

WRAŻENIA Z WYCIECZKI
DO
AFRYKI
W roku 1860.

przez

Antoniego Zaleskiego.

(Dalszy ciąg ob. N. 14.)

Rzuciwszy okiem na kolosalne roboty nowych doków i portów, które się obecnie budują, na massy statków, które napełniają dwa dotychczasowe porty, na tłum różnostrojny i różnojęzyczny żeglarzy ze wszystkich stron świata, rojący się na wybrzeżach, udaliśmy się do nowo-założonego ogrodu zoologicznego, którego piękność i urządzenie przechodzi wszystkie istniejące w Europie. Cudowny klimat Prowancji dozwolił osadzić go całą florą Azji i Afryki i widzieć gazelle i inne zwierzęta południa przechadzające się jak w swojéj ojczyźnie wśród palm i kaktusów rodzinnych. Z zajęciem przypatrywaliśmy się żwierzętom, które wkrótce mieliśmy oglądać wolnemi na pustyni i staczać z niemi walki, a najbardziéj nas interesowała jego królewska mość— lew afrykański, który z największą powagą majestatycznie na nas spoglądał. Oddawszy mu należne uszanowanie, podziwialiśmy rzadki w Europie exemplarz nosorożca, który jak góra skalista okryty czarnym puklerzem chropowatéj skóry, poważnie kiwał się dla ruchu, podnosząc kolejno nogi. Niepodobna sobie wyobrazić coś straszliwiéj monstrualnego, jak tę potworę, ostatniego z hippopotamem i słoniem przedstawiciela przepotopowych olbrzymów. Skończywszy naszą exkursję i zjadłszy obiad, udaliśmy się wcześnie do spoczynku, mając rano nazajutrz w dalszą drogę wyruszyć.

Jakoż rzeczywiście nazajutrz unosił nas szrubowy statek Marabout ku brzegowi Afryki. Tak jak zwykle bywa w podobnych podróżach, pokład zrazu pokryty passażerami zaczął się opróżniać... Osoby, które go napełniały, a szczególniéj damy zaczęły się gdzieś chować... i wkrótce prawie wszyscy, prócz osady okrętu i małéj liczby uprzywilejowanych organizacij, zaczęli płacić dług morskiéj chorobie.

Morze też nie pomału dopomagało ze swojéj strony, gdyż zrazu spokojne coraz więcéj zaczęło szaleć, do wieczora fale wzrosły do tego stopnia, że nie można było ustać ani usiedzieć na miejscu, ani też nakryć do stołu, gdzie talerze, wazy, szklanki i butelki, pomimo zaradczych środków, czyli rodzaju sieci przeciąganéj pomiędzy naczyniami, puszczały się w taniec, którego skutki niebezpiecznemi się okazały tancerzom i spektatorom w koło stołu siedzącym.

Po czterdziestu ośmiu godzinach męczącéj żeglugi, zaczęły nam się ukazywać brzegi afrykańskie i ptaki nadmorskie znowu polatywać około statku poczęły. Z radością powitałem poczciwą ziemię po niegościnném morzu, a pierwszy raz w życiu oglądając brzeg nieznanéj mi dotąd części świata, dziwnego doznawałem wrażenia.

Stara ziemia Dydony, Jugurty i Massynissy, ziemia Annibala, ś. Augustyna, siedlisko korsarzy, którzy na wstyd Europie przez kilkanaście wieków bezkarnie plondrowali po Srodziemném morzu i jego wybrzeżach, ojczyzna Abdelkadera ostatniego bohatera naszego wieku, ziemia lwów i lwiego serca ludzi leżała przed nami, piętrząc się na brzegach w fantastyczne skał i gór odłamy. Statek chyżo przybliżał się do brzegu, morze też jak zawsze przy brzegach stawało się spokojniejszem i wkrótce ujrzeliśmy po obu stronach pięknéj zatoki, na prawo port Stora, na lewo o półgodziny stamtąd, na drugim brzegu tejże zatoki piękne miasteczko Philippeville.

Statek nasz rzucił kotwicę przed Stora, i został natychmiast otoczonym rojem bacików, w jaskrawe farby pomalowanych, których kształt i kierujący niemi żeglarze przypomnieli mi włoskie wybrzeża i porty. Były to łodzie maltańskie, bo ludzie tego narodu napełniają porto we miasta i wybrzeża Afryki.

Obrawszy jedną z tych łodzi i z niemałym trudem wśród wrzasku i rwetesu, ulokowawszy się na niéj z naszemi manatkami, opuściliśmy bez żalu statek parowy i w poprzek zatoki puściliśmy się wprost ku Philippeville. Słońce dogrzewało jak u nas w lipcu, morze było tak ciepłe, że kąpaćby się można.

Po półgodzinnéj żegludze, stanęliśmy u brzegu i wśród tłumu ciekawéj gawiedzi, dla któréj przybycie statku z Europy przedstawia ważną epokę i główną rozrywkę, wysiedliśmy na ląd, gdzie nas znowu otoczył tłum istnych lazzaronów, spierających się o zaniesienie rzeczy naszych do hotelu. Po półgodzinnych wrzaskach i sporach, ciężar został proporcjonalnie rozłożony na półnagie karki kilku tragarzy i cały ten orszak, daléj my trzéj, i jmć pan Shot wyżeł nasz i wielki przyjaciel, którego zapomniałem dotąd przedstawić czytelnikowi, ruszyliśmy tryumfalnie przez miasto do hotelu de Luxembourg. Nazwisko to, hotel de Luxembourg na mnie, który jako artysta i podróżnik goniący za czemś nowem i miejscowem, spodziewałem się jeżeli nie namiotu, to przynajmniéj karawanseraju, nie miłe zrobiło wrażenie. Ale Philippeville, jak nazwisko jego wskazuje, założone i wybudowane za Ludwika Filipa, wygląda jak każde małe i nowe miasteczko prowincjonalne francuzkie i nic afrykańskiego nam nie przedstawiło. Ludność francuzko-maltańsko-hiszpańsko-włoska je napełnia, a Arabów widać tylko na targu z bydłem i innemi wiejskiemi produktami.

Reszta dnia zeszła nam na odpoczywaniu, po nieznośnéj morskiéj podróży i przygotowaniach do jutrzejszéj drogi. Od dwóch dni po raz pierwszy, z rozkoszą stąpałem po niewzruszonéj podstawie lądu, zamiast zataczać się po kiwającym się wiecznie pokładzie Marabouta, to też i dobry humor i zdrowie i nierozdzielny jego towarzysz — dobry apetyt nam wrócił, zadawaliśmy niemiłosierne razy afrykańsko-francuzkim przysmakom Luxemburskiego hotelu, i z prawdziwą przyjemnością ujrzeliśmy się w łóżkach, zamiast klatek podobnych do katakumb na parowym statku.

Około piątéj z rana obudzono nas, dając znać, że pojazd, który miał nas zawieść do Guelmy już był gotowym. Znowu pojazd! czemu nie rumak arabski albo wielbląd „okręt pustyni?“ ale nie należało się niczego innego spodziewać po Philippevillu i hotelu Luxemburskim. Na szczęście pojazd, konie i woźnica, chociaż nie po afrykańsku, ale przecież wcale nie po europejsku wyglądały. Tylko Hiszpanja i Włochy mogłyby coś podobnego przedstawić. Pojazd, jakiś szczątek arki Noego, jakiś korab' najfantastyczniejszego kształtu był nieoceniony, konie apokaliptycznéj chudości, łamigłówką postronków uczepione do kolasy, a woźnica maltańczyk, istny brigante sycylijski, z ogromną brodą i w czerwonéj czapce.

Fantastyczny ten ekwipaż, pocieszył mnie trochę po rumakach i wielbłądach spodziewanych i wpakowawszy się weń nie bez trudności, wśród odmętu strzelb, toreb, paków z namiotami, i podróżnemi przyborami różnego kształtu, któreśmy z sobą wieźli, ruszyliśmy w podróż po świeżo założonéj drodze żwirowéj, która dochodzi do Jemmapes, gdzieśmy popasać mieli.

Kraj, który nas otaczał był górzysty, wegetacja bujna, gęsta, ale nizka. Niema wyższego drzewa jak oliwne, a te choćby kilkaset lat rosło, nigdy wyżéj nie dojdzie jak nasza jabłoń albo gruszka ogrodowa. Palm widzieliśmy bardzo mało, gdyż jeszcze za zimno tu dla nich, główną massę drzew stanowiły ogromne lasy oliwne i mirtowe, a jedyną wybitnie od Europy odróżniającą się cechą wegetacji, były figi barbaryjskie u nas kaktusami zwane i w wazonach chowane, tu do wysokości kilkunastu łokci w gęstych massach rosnące.

Po drodze spotykaliśmy Arabów, po większéj części na mułach dążących na targ do Philippeville i z ciekawością przypatrywaliśmy się nowemu dla nas typowi tych ludzi. Są po większéj części wysmukli i dobrze zbudowani, wielkie czarne oczy gęstemi i czarnemi brwiami zarosłe, których białko od ciemnéj cery dziwnie odbija, równie jak i zęby, białe jak kość słoniowa. Wyraz twarzy pojętny i bystry, ale w ruchach powolność, a raczéj powaga.

Białe ich płaszcze, bez których żaden się nie ruszy, tworzą draperje pełne charakteru i klassycznéj piękności. Najbiedniejszy, a co jedno, najbrudniejszy Arab ma jeszcze coś majestatycznego w sobie i przy kusym ruchliwym i gadatliwym Europejczyku, wygląda jak król pustyni.

Przebywszy bliższe okolice Philippeville, dość gęstemi francuzkiemi kolonjami osiedlone, kraj zdawał się coraz puściejszym. Czasem przez kilka kilometrów drogi nie spotykaliśmy pola zasianego. Gdzie niegdzie napotykaliśmy duary, czyli wioski arabskie,— te składają się z szałasów naprędce z kamieni, ziemi i chrustu sklecionych, Gourbi zwanych, w których mieszkają ubożsi, i z namiotów wełnianych czarnych lub w pasy czarne z żółtemi, które są mieszkaniem bogatszych rodzin. Około wioski trochę bardzo niedbale wyrobionego pola, wystarcza na potrzeby mieszkańców, a głównym ich dochodem jest bydło, którego mogą trzymać wielkie massy przy tak obszernych i obfitych pastwiskach.

Rolnictwo rzeczywiście nie popłaca w Afryce, jak tylko w bezpośredniéj blizkości miast i portów. Dróg jest jeszcze bardzo mało, a zatem dostawa ziarna prawie niepodobna, do tego ludność mała, a stąd trudność o robotnika; wszystko to sprawuje, że koloniści, chcący się rolą zajmować, rzadko dobrze wychodzą i najczęściéj bankrutują po kilku latach pracy.

Arabowie, choć ich Francuzi przychodzą uczyć rozumu, więcéj go mają pod tym względem, niż ich mistrzowie i chwała Bogu, od Abrahama czasów, żyją sobie spokojnie ze swemi trzodami i nie słychać żeby bankrutowali, bydło same się żywi i na miejsce konsumpcji same na własnych nogach się dostawia, nie wymaga więc kosztów, jak uprawa roli. Francuzi zarzucają Arabom lenistwo, nie są oni leniwi, ale pracują tyle, wiele potrzebują na zaspokojenie swych potrzeb, a gdy te są skromne i ograniczone, gdy nie mają kosztownych wymysłów cywilizacji, nie czują téj potrzeby coraz większych zysków, téj gorączkowéj żądzy bogactwa, która cechuje Francuza, a podług mnie są rozumniejsi i szczęśliwsi od nich.

Niedaleko od Jemmapes, Vermay zerwał się nagle i wstrzymał woźnicę, który bez trudności, skłonił do tego swoje szkapy. Powiedział nam, że spostrzegł dwa żwierzątka, zwane ratons, które przebiegły drogę i ukryły się pod mostem w krzakach parowa, w mgnieniu oka chwyciliśmy za strzelby i byliśmy na moście. Długo śledziliśmy okiem w krzakach, które mieliśmy w parowie pod nogami naszemi, aleśmy nic dostrzedz nie mogli, nareszcie Vermay rzucił kamieniem w krzaki i z szybkością błyskawicy, dwa wspomniane stworzenia, sunęły po parowie. Oba daliśmy ognia i oba napróżno, bądź z powodu szybkiego biegu zwierzyny, bądź zadziwienia strzelców, zwykłym jednak myśliwych obyczajem dowodziliśmy, że żwierz raniony, że niedaleko musi leżeć, szukaliśmy go nawet, ale napróżno. Ratony te podobne są zupełnie do ogromnych szczurów, są zaś wielkości dużego kota. Zawstydzeni niepomyślném polowaniem, jechaliśmy daléj i około południa stanęliśmy w Jemmapes.

(Dalszy ciąg nastąpi).

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

POGLĄD OGOLNY.

Podajemy dziś dokończenie pisma pana de la Gueronniére. Dzienniki francuzkie rozmaicie je oceniły; przytoczone niżej wyjątki objaśnią czytelnika, jak stronnictwa patrzą na ten wyraźny objaw cesarskiéj myśli w sprawie świeckiéj władzy ojca św. Dziennik rozpraw zawsze przywiązany do upadłéj orleańskiéj dzielnicy, zawsze pełen głębokiego żalu po rządzie parlamentarnym, ale wierny ojczyźnie, któréj wielkość i szczęście nad wszystko przenosząc, gotów jest do oddania sprawiedliwości każdemu rządowi, który te niezbędne warunki powodzenia Francji rozwijać i w poszanowaniu Europy utrzymać potrafi. Sądy więc jego są, o ile ułomność ludzka dozwala, bezstronne i beznamiętne; dla tego też kładziemy jego ocenę na czele innych. Dziennik francuzki, wychodzący w Petersburgu, ułatwił nam tę pracę; z niego czerpiemy wskazane przytoczenia. A więc dziennik rozpraw w następnych wyrazach przemówił o rozgłośnem piśmie, tak żywo dziś umysły zajmującem:

„Każdy to postrzeże, że ostateczne wnioski autora nie są stanowczo wypowiedziane; lecz dość przejrzyście napomknione, aby je zrozumieć, jak zrozumianemi być powinny. Ponieważ pytanie Włoskie, według słów pana de la Gueronniére, nie jest przypadkowem; ponieważ Włochy są wielką potrzebą cywilizacji i porządku europejskiego, dobro więc Europy wymaga, aby to pytanie zostało prawidłowie rozwiązanem, aby Włochy uspokoić i urządzić. Owoż, podług pana de la Gueronniére, zawadą do osięgnienia tych wypadków jest Rzym. Do dworu więc rzymskiego zwraca się pan de la Gueronniére, aby uprzątnął tę zawadę, aby porozumiał się, zjednoczył i sprzymierzył z Włochami, t. j. z Piemontem. Ale jakie są warunki tego układu, tego przymierza, które pan de la Gueronniére żąda, aby stolica św. zawarła z Wiktorem Emmanuelem? W razie zaś gdyby ten układ nie doszedł przez odmowę rządu papieskiego, jakie stąd wynikłyby następstwa? Jakie stanowisko przyjmie wówczas rząd francuzki? Co do pierwszego, nowe pismo nie dostarcza najmniejszych skazówek; co do drugiego, wywołującego najwięcéj uwag, dosyć nam będzie poprzestać na wyraźnem oświadczeniu, kończącem broszurę: „Że cesarz zostawi miecz swój w Rzymie dla osłony bezpieczeństwa ojca św. Wierny swoim dwoistym obowiązkom: wybrańca narodowéj woli i starszego syna kościoła, nie może poświęcić Włoch dworowi rzymskiemu, ani wydać papiestwa rewolucji.“

Tak jest w rzeczy saméj. Broszura nie podaje stanowczo określonego rozwiązania. W tym względzie ma coś pokrewnego z mową cesarską. W najwyższych przeto sferach władzy, jak w sferach mniéj urzędowych, objawia się chęć zostawienia senatowi i izbie prawodawczéj mocy rozstrzygnienia téj trudności. Wszakże przyznać należy, że jeśli pan de la Gueronniére nie podaje ostatecznego sposobu ukonstytuowania Włoskiego królestwa, można aż do pewnego stopnia domyślić się, jakie rozwiązanie odpowiedziałoby jego dążeniom.

Dziennik Jedność następnie je określa:

„Nagli nas potrzeba poznania ostatecznego wniosku. Rzecz dziwna i wybitna! Pismu na tym wniosku zbywa.

„Dla czegoż w chwili, w któréj należałoby zamknąć ten akt gorzkiego oskarżenia, mówca zamilkł! On, który zasięgał światła polityki; on, który przyrzekł dać krajowi, miotanemu niespokojnością, węzeł zagadnienia, nagle gasi pochodnię, mającą rozjaśnić pomrok przeznaczeń włoskich? Któż wytłumaczy to postępowanie? Czyż pisarz sam się uląkł tych złowrogich błysków, które miał rozniecić? albo raczéj powlokłszy w ten sposób papieża przed sąd gminu i rzuciwszy tjarę na łup rewolucyjnym namiętnościom, autor, podobny do strażnika cyrku, chce ustąpić, dozwalając zewrzeć się z sobą dzikim nienawiściom? Słuchajcie tylko okrzyków radości całego obozu; patrzcie jak pismo pana de la Gueronniére uwielbiane jest przez pochlebstwa tych, chwytane jako zadośćuczynienie przez dumę gminowładną owych, przytaczane przez nich jak wyrok śmierci władzy świeckiéj stolicy św. Czyż nadzieja podobnego powodzenia była dlań dostateczną? Albo raczéj czyż nie lękał się wyjść naprzeciw niemu? Zamknienie, to zamknienie przebijające się na każdéj stronicy, autor, pragnę wierzyć, nie śmiał go napisać. Ale wiemy to zamknienie; wszystkie głosy radykalizmu już nam je zapowiedziały; sięga ono dalekich czasów, czytajcie co następuje:

„Pakt społeczny konstytucji Auzońskiéj. Art. 35—rada wybierze patryarchę dla Auzonji. Teraźniejszy papież będzie uproszony przyjąć tę godność i otrzyma w zamian dochodów z dóbr doczesnych, wcielonych do dziedzictwa rzeczypospolitéj, wynagrodzenie osobiste.“

„Jest to sakramentalny akt węglarstwa; jest to ruina papiestwa! Ale chcemy wierzyć, że pióro pisarza francuzkiego w 1861 r., wzdrygnęło się podpisać to, co przed 40 laty wyrył sztylet węglarski!“

Taki jest koniec artykułu, w którym legitymistowski francuzki dziennik potężnie bije na pismo pana de la Gueroniére.

Mniemanie narodowe, organ lub obrońca polityki piemonckiéj, ma nierównie więcéj społeczucia dla wyobrażeń broszury, noszącéj na sobie, jak mówi, całą ważność publicznego aktu; wszakże nie przyjmuje wszystkich jéj sądów; nie myśli, np. razem z panem de la Gueronniére, „iż równie niepodobna jest wyobrazić sobie Włoch bez papieża, jak papieża bez Włoch“ i oświadcza, że jest wprost przeciwnego zdania, wołając:

„Włochy polityczne nie potrzebują papieża; potrzebny jest im tylko Rzym na stolicę. Co do papiestwa duchownego, może potrzebuje ono dla podniesienia się w oczach ludów oddalić się z Włoch, oczyścić się ze wszystkich knowań, ze wszystkich lichot, których, dokumenta dyplomatyczne i sam nawet pan de la Gueronniére rozwinął przed nami smutny obraz. Nieobecność i zapomnienie, szczery zwrót na siebie same i na prawdziwe nauki kościoła, jedynie tylko mogą przygotować papiestwo do odzyskania panowania nad duszami.“

Tenże dziennik dodaje:

„Pan de la Gueronniére inny zupełnie czyni wniosek; jego stanowisko i urzędowe niemal znamię jego pracy, nie mogły mu pozwolić podobnych zuchwalstw. Ale daje z niéj wyciągać powyższe wnioski, i w téj saméj chwili, w któréj żąda pojednania Włoch i papiestwa, każdy czuje, że to jest tylko ostatecznem zaklęciem, jakie sumienie doradzało, ale którego nadzieja nie natchnęła.“

Ten pogląd podziela i Niepodległość Belgijska:

„Chociaż broszura oświadcza, że cesarz miecz swój zostawi w Rzymie, dla czuwania nad bezpieczeństwem Ojca św. i że cierpliwie czekać będzie blizkiéj godziny, w któréj rząd papieski nakoniec wyjdzie ze złudzeń, ten wniosek zdaje się nam być ustępstwem dla potrzebnych oszczędzeń. Prawdziwe znamię broszury nie zawiera się w tem ostatecznem oświadczeniu, lecz we wstępie do dzieła. Jest to ostrzeżenie, jest to pełném uszanowania zapowiedzeniem, że jeśli dwór rzymski upierać się będzie przy swéj polityce, Francja postąpi względem niego tak, jak postąpiła względem Neapolu i Gaety; zostawi półkom włoskim czuwanie nad bezpieczeństwem Ojca św. Nic nie przeszkadza, aby nie spełniły tego obowiąku, nie wywołując większych zarzutów, jak to uczynili żołnierze, dowodzeni przez jenerała de Goyon.“

Świat, który niedawno był Wszechświatem, nim zapędy pana Ludwika Veuillot nie wyzuły go z téj nazwy, przyjmuje nową broszurę z większym spokojem, niż Jedność.

Nie zadawalnia go ona, bez wątpienia, ale dosyć spokojnie zwraca uwagę na to, że broszura nie zaprzecza potrzeby władzy świeckiéj papieża i usiłuje dowieść w odpowiedzi na oskarżenia, których polityka papieska jest przedmiotem w piśmie pana de la Gueronniére, że rząd papieski nie mógł inaczéj postępować, jak postępował. Wszystkie półurzędowe dzienniki przesadzają się w pochwałach broszury. Ich artykuły brzmią odgłosem dwóch poniższych ustępów Konstytucjonisty:

„Autor Francji, Rzymu i Włoch roztrząsa z kolei najczulsze i najtrudniejsze pytania; nie cofa się z ogłoszeniem żadnego szczegółu, dotąd znanego lub tajonego, przyrzekł odsłonić wszystkie dźwignie rozmaitych przypadłości pytania, pójść za niemi w ich wszystkich następstwach i dotrzymał słowa. Uczynił to z cudowną przyzwoitością. Wiara, patryotyzm i wierność, są jego najpewniejszemi przewodnikami i nie zbaczając nigdy od prawdy, nie zbacza również od uszanowania, ani od poświęcenia wyznawanego dla stolicy św., dla Francji i cesarza.

„Pan de la Gueronniére w kilku słowach przemowy wyjaśnia, dla czego za wysokiem przyzwoleniem pana ministra spraw wewnętrznych, nie wahał się podpisać swéj pracy. Okoliczności wymagały, aby jéj doniosłość nie była ani zwiększaną, ani uszczuplaną. Co do nas, musimy oddać słuszność postanowieniu, czyniącemu zaszczyt pisarzowi; w oczach bowiem ogółu, broszura ma swe właściwe znamię i całą swą polityczną ważność.“

Nastąpić wkrótce mają rozprawy ciała prawodawczego i senatu. Jeden z korrespondentów Niepodległości belgijskiéj, który uwiadamia redakcję o pracach przygotowawczych w biórach senatu i ciała prawodawczego, twierdzi, że broszura bardzo rozmaicie była ocenianą, tak w Luksemburgu, jak w pałacu Burbon. Po jéj wyjściu, zakłopotanie okazało się większe, niż przed niém, ale każdemu spadł jakby kamień z serca, bo wszyscy postanowili rozwiązanie trudności zostawić rządowi.“ Tenże korrespondent list swój kończy temi słowy:

„Moja treść jest następna: Broszura obejmuje to wszystko, co powie adres, albo, właściwiéj mówiąc, prawdziwym adresem jest broszura.“

W tym rozgwarze sprzecznych zdań i poglądów, nie wypowiadamy naszego własnego zdania. Musimy to odłożyć do następnego n-ru Kurjera; niedostatek czasu nie dozwala nam zastanowić się nad dwoma najwyższéj wagi aktami, jakiemi są umieszczone niżéj depesze książęcia Gorczakowa do posłów rossyjskich w Konstantynopolu i Paryżu, a tyczące się sprawy chrześcijaństwa na wschodzie i nowa austryjacka konstytucja. Co do pierwszych, rozradowały one nasze serce żądne sprawiedliwości, bo w języku szlachetnym, prostym i szczerym, jakiego minister spraw zagranicznych cesarstwa używa, widzimy rękojmię nietylko, lepszéj doli chrześcijan libańskich, ale też zbliżenie z polityką francuzką, co na drodze postępu i cywilizacji najpiękniejsze zapowiada owoce. Co do drugiego, doznalibyśmy niewymównéj pociechy, gdybyśmy mogli wymusić na sobie wiarę, w szczerość i słowność austryjackiego rządu. Te i inne uwagi musimy odłożyć do piątkowego Kurjera i dopraszać się o cierpliwość względnych naszych czytelników.

Włochy.

Medjolan, *20 lutego*. Umieszczamy następny list, pisany do dziennika *Le Nord*:

„W przeszłym roku opisywałem szczegółowie zabawy naszego małego mięsopustu *(carnavalone)*; dziś na tem tylko poprzestanę, że przyjazd króla, kapitulacja Gaety, przyjęcie poprawy p. Vincke, przybycie jen. Bonin i nakoniec te jasne dni wiosenne, co nagle przerwały zimną jednostajność szarego, wilgotnego, mglistego nieba, były, że tak powiem, tyluż elektrycznemi wstrząśnieniami, skupionemi w nadziejach i obawach przyszłości; tak, że jakby za uderzeniem czarodziejskiéj różczki miasto nasze przybrało szatę radości i święta i oddało się pełnym serdeczności zabawom.

„Król, który między nami pozostał aż do niedzieli wieczorem (17 lutego), dzielił z nami powszechną radość i wesołość, okazując wszędzie ludowi czoło pogodne i uszczęśliwione, zaszczycając wszystkie nasze zabawy swoją obecnością, nie opuszczając ani jednego widowiska w teatrach i *corsi*, zawsze nadzwyczaj ożywionych i ludnych. Bal u dworu nie mógł być żywszym, ani świetniejszym; trwał od 9 wieczorem, aż do 5 zrana, lecz tańce rozpoczęto dopiero około północy. Król i księżna Genui ściągali wszystkie spojrzenia i spółczucia sali; widziano w niéj największe znamienitości królestwa; między ministrami państw przyjaźnych, najpowszechniejszą uwagę zwracał na siebie jen. pruski Bonin, którego bytność w Medjolanie, w obecnych okolicznościach jest dobréj wróżby.

„Otworzona przez dziennik *Pungolo* (Bodziec) przedpłata na medal złoty dla p. v. Vincke, poparta przez całe dziennikarstwo, idzie przedziwnie, co pozwala domyślać się, że ten medal pamiątkowy dla pełnéj współczucia poprawy sejmowego pruskiego posła, będzie mógł być doręczony nie tylko dostojnemu posłowi, ale nawet tym wszystkim, co z nim razem głosowali.

„Oczekiwana, z taką niecierpliwością, broszura p. de la Gueronniére, przybyła do Medjolanu w niedzielę wieczorem d. 17, nazajutrz zaś z rana ukazała się w tłumaczeniu włoskiém we wszystkich głównych dziennikach medjolańskich. Zbyteczném byłoby mówić jakie sprawiła wrażenie; łatwo to sobie wystawić. Spragnieni ujrzeć rozwiązanie zadania, przedłużającego nasze obawy, naszą niepewność, wdzięczni Francji i cesarzowi za wszystko, co uczynił dla naszéj niepodległości, przyjęliśmy, z rozczuleniem i wdzięcznością, nową francuzką publikację, bo widzimy w niéj wyraźne oskarżenie knowań klerykalnego i przeciw-włoskiego stronnictwa, odezwę do sumienia powszechności europejskiéj, ultimatum dworowi rzymskiemu, który skończy, jak Burbonowie neapolitańscy, jeśli uporczywie trwać będzie w swoich reakcyjnych zamysłach i jeżeli nie ustąpi sprawiedliwości, rozumowi, prawu, uczuciom i dążeniom włoskim.

„Telegraf musiał już wam przynieść mowę naszego króla przy otwarciu parlamentu. Mowa jest krótka, zwięzła, ale otwarta, godna, uczciwa, jak rzeczywiście przystało na tego, który nie chcąc obudzać niespokojności, czuje jednak, iż prawem i rzeczą jest pierwszym, prawdziwym królem włoskim! Te słowa: *roztropność w czas, śmiałość w porę, oczekiwanie na dobę*, wskazują stanowisko teraźniejsze gabinetu turyńskiego, który nie będzie mógł przecież usnąć na laurach, jakkolwiek parlament sprzyja ministrom, ale który powinien będzie zająć się pracowicie organizacją zarządu nowego królestwa i uzbrojeniem na lądzie i morzu, bo istnieje jeszcze obietnica narodowa do spełnienia, na drugim brzegu Mincio.

„W przyszłą sobotę (23 lutego) mają zgromadzić się nowi przedstawiciele wychodźtwa weneckiego, trydenckiego i istryjskiego, dla ostatecznego zatwierdzenia statutu, tudzież dla mianowania nowego głównego politycznego komitetu przedstawicielstwa. Czas jest, aby wychodźtwo przedstawiane być poczęło, nie tylko przez ludzi uczciwych i zdolnych, lecz czynnych, sprężystych, mających odwagę i postanowienie działania we właściwym czasie.

Turyn, 21 lutego. Hr. Cavour, składając w senacie projekt do prawa, nadającego Wiktorowi-Emmanuelowi i jego następcom nazwę króla włoskiego, następnie przemówił:

„Mości panowie Senatorowie,

„Cudowne zdarzenia dwóch lat ostatnich, zjednoczyły, w skutek niespodzianych powodzeń, w jedno państwo, prawie wszystkie rozrzucone części narodu. Miejsce księstw, tak różnych, a często nieprzyjaznych między sobą, przez niezgodność swych widoków i rad polityki, zajęła nakoniec jedność rządu, oparta na trwałéj posadzie narodowéj monarchji. Królestwo włoskie jest już dzisiaj rzeczywistością; tę rzeczywistość powinniśmy potwierdzić w obliczu ludów włoskich i Europy.

„Z rozkazu j. k. m. i za jednomyślném zdaniem rady ministrów, mam więc zaszczyt przedstawić senatowi załączony tu projekt prawa, w moc którego, król, pan nasz miłościwy, bierze dla swych następców nazwę *króla włoskiego*.

Parlament, wierny tłumacz woli narodowéj, która objawiła się już w tysiącach zdarzeń w dniu uroczystym królewskiego posiedzenia, z uniesieniami wdzięczności i przywiązania, obwoła Wiktora-Emmanuela królem włoskim. Senat znajdzie się szczęśliwym, że pierwszy nada prędką sankcję życzeniom wszystkich Włochów i pozdrowi nową nazwą szlachetną dynastję, która zrodzona we Włoszech, znamienita w ciągu ośmiu wieków chwały i cnót, wybraną była przez Opatrzność boską na pomszczenie nieszczęść, na zabliźnienie ran, na zamknięcie ery włoskich podziałów. Przez nasze głosowanie, m. pp., położycie koniec wspomnieniom walk między prowincjami i zapiszecie pierwszą stronnicę nowych dziejów narodowych.“

Francja.

FRANCJA, RZYM i WŁOCHY

V.

Polityka cesarska zakreśliła osiągnienie podwójnego celu: szanować Włochy w ich niepodległości i opiekować się świecką władzą Papieża. Między temi dwiema potęgami, skłóconemi przez nieporozumienie, rozjątrzonemi przez pewne wspomnienia, które od pół wieku, wyjąwszy świetne dni co zagaiły papiestwo Piusa IX, zdawały się nie mieć wspólnych ani pragnień, ani nadziei; między papiestwem zagrożoném i Włochami, gotowemi do powstania, należało pokusić się o dzieło pojednania i zbliżenia. Dobro Włoch i dobro Kościoła dopominało się końca zgubnéj walki i uznania praw wzajemnych; i tém właśnie uczuciem tchnęły wszystkie rady, dawane przez rząd francuzki Rzymowi, nierównie wcześniéj, niż wypadki dowiodły potrzeby tych usiłowań. Cesarz wzywał Ojca św. do zaspokojenia życzeń wyzwolonéj Włoskiéj myśli przez spełnienie reform, wielokrotnie doradzanych przez rządy europejskie, reform wielokrotnie przyrzekanych i ciągle napóźniéj odkładanych.

Wskrzeszenie municypalności rzymskich, decentralizacja zarządu, przecięcie wielu nadużyć, przywrocenie niektórym prowincjom swobód, których pozbawił je kongres wiedeński; te wszystkie środki, przenikając nową żywotnością, dawną powagę papieską, mogłyby otoczyć tron św. Piotra potężném współczuciem; rząd rzymski *ulegając, w swojem świeckiem istnieniu, zwykłym warunkom władz ludzkich, powinien był umieć uprzedzić, przez reformy krzepiące państwa, rewolucje, co je wstrząsają lub gubią.*

Ale wówczas, gdy cesarz wyczerpywał usiłowania na pogodzenie papiestwa z Włochami i dla przygotowania na téj drodze katolicyzmowi nowych i sławniejszych przeznaczeń, stronnictwo polityczne, chcące, w niejaki sposób, *wdać Boga we wspólnictwo swych zamysłów*, wywoływało wstrząśnienia, sprzeciwiając się wszelkiéj ugodzie. Podług niego, cesarz powinien był, niwecząc dowody swego narodowego początku, wyrzekając się niepożytéj puścizny, zostawionéj przez rewolucję francuzką naszemu pokoleniu, zostać we Włoszech obrońcą prawa boskiego. Mniejsza o wolność Półwyspu i ową konieczność krwawych tłumień, która zaburzyłaby Europę. Chodziło o ochronę, od wszelkich wstrząśnień, państwa kościelnego. Opierano bezpieczeństwo Stolicy św. na ujarzmieniu narodu.

Wśród takich to okoliczności, Austrja, ulegając może cudzoziemskim podżeganiom, rozkazała przekroczyć Ticino swym żołdakom i poniosła, na posiadłości piemonckie, zaczepną wojnę. Nie mamy potrzeby przypominać późniejszych zdarzeń: bystre wdanie się Francji, dwie wielkie bitwy, stoczone i wygrane we dwa miesiące, wojsko dowodzone przez cesarza przydającego nowe nazwy do wszystkich wsławionych pamiątek, jakie nam ojcowie nasi przekazali, Lombardja nakoniec ustąpiona Francji, na zjeździe w Villafranca i wrócona swobodną swéj odwiecznéj narodowości: dzieje uświęciły już pamięć tych wszystkich przewag. Wszakże, zewnątrz napaści austryjackiéj, ta wojna miała przyczyny głębokie, czyniące ją nieuchronną, bo powiązana była z samym składem społeczeństwa włoskiego; była ona jedną ze zgubnych następstw gwałtownych dawniejszych niesprawiedliwości.

VI.

Podczas podziału Europy przez zwycięzców w r. 1815 Włochy dostały się Austrji, która znalazła w nich, prócz zasobów dla swojego wyczerpanego skarbu, zaspokojenie dziedzicznéj swéj dumy. Panując w Medjolanie i Wenecji z mocy traktatów, cesarz rządził nadto małemi dworami parmeńskim, modeńskim i florenckim, w widokach wspólnego oporu i z powodu rodzinnych układów. Z ogromu zdobyczy, wydartéj przez koalicję z potężnych rąk cesarza Napoleona I, Austrja spierała się ze Stolicą św. o całą niemal rozległość jéj posiadłości, świeżo przez Piemont zagarnionych. Wpośród upojenia zwycięztwa, przemoc głuchą była na prawo. Cesarstwo porozstawiało swe czaty w Ankonie, Bolonji, wszędzie gdzie widziało stanowisko dla swojego panowania nad półwyspem. Następnie wznowiło robotę, która w wiekach średnich nie udała się cesarzom niemieckim, t. j. robotę wyzucia Włoch z ich narodowych znamion i uczynienia z tych krajów, orężem zhołdowanych, klejnotu niemieckiéj korony. W tém przedsięwzięciu wyczerpało wszystkie drogi zręczności i siły.

Od owego to czasu, na żyznych dolinach, skrapianych przez Pad, Ticino i Mincio, stanęły na przeciw siebie dwa ludy: zwyciężeni, nie rozumiejący nawet języka swych panów, protestujący przez spiski i rozruchy przeciw ich ciemiężtwu; zwycięzcy, łączący z całą pychą zdobywców, całą nieufność przyszłości; jedni narzucali swe rządy, drudzy znosić je musieli. Włosi byli z Włoch wydziedziczonymi. Stany oświecone protestowały przeciw téj pogardzie i siebie i ducha narodowego; ale ten prawowity opór przeciw przemocy austryjackiéj powiększał tylko srogość i nienawiść rosła razem z ujarzmieniem.

Rewolucja 1848 znalazła Włochy gotowe do powstania. Zdarzenia, których Półwysep został wówczas widownią, utworzyły dla Piemontu wyjątkowe stanowisko. Kraj ten urządzony przez kongres udzielnie a jednak w widokach nieprzyjaznych Francji, stał się strażnikiem skrzywdzonéj narodowéj niezawisłości; a lubo w pierwszém swém usiłowaniu pomsty, doznał klęski nowarskiéj, nie pozbawiło go odwagi to nieszczęście i nie sprowadziło z toru, ukazywanego mu przez wszystkie wyzwolone umysły Europy. Ześrodkował w samym sobie, w pracowitém wdrażaniu się w swobody powszechne, wszystkie ożywcze siły narodu; mówił i działał w imieniu Włoch; stanął na radzie mocarstw, jak przedstawiciel ujarzmionego plemienia i na polu bitew podniósł chorągiew wspólnéj ojczyzny, obok połączonych proporców Anglji i Francji. Kogoż więc zadziwi, że podobne położenie, potępione przez sumienie ludów i świadectwo dziejów, doprowadziło do strasznego pojedynku między Ausrją i Włochami!

VII.

Francja przewidziała tę walkę i dla jéj odwrócenia nie zaniechała najszczerszych zabiegów. Kierowana wyższemi widokami powszechnego międzynarodowego porządku, pragnęła oszczędzić Włochom boleści nowych wstrząśnień, Europie zaś niepokojów i niebezpieczeństw wojny, mogącéj ogarnąć, swym pożarem, wszystkie wielkie państwa.

Między Włochami i Austrją istniała nieprzejednana nieprzyjaźń; należało więc szukać zewnątrz niemieckiego panowania, pierwiastków uspokojenia Półwyspu. Zrozumiała to Francja i probowała tego dokazać, na kongresie 1856. Wspierając się na powadze owych wielkich przykładów interwencji mocarstw, w celu rozwiązania zadań grożących pokojowi Europy, żądała, w imie bezpieczeństwa przyszłości, wyrzeczenia się, przez Austrję nie praw, służących jéj na panowanie nad jej włoskiemi posiadłościami, ale nieustającego i ogólnego wływu, jakim ciężyła na Półwysep, na mocy układów z książętami. Cesarz Napoleon chciał, aby ci książęta, uposażeni przez traktat wiedeński rzekomą udzielnością, przestali być lennikami, lub namiestnikami Austrji, i żeby zamienili się na rządców narodowych. Miejsce niepodobnéj już przewagi odziedziczyłoby zwierzchnictwo Europy, które byłoby dla Włoch rękojmią ich wyzwolenia.

To rozwiązanie ocalało prawo narodowe, podnosiło cześć koron i w niczem nie ubliżało prawowitemu uczuciu dumy habsburgskiego domu; wyprowadzało zadanie włoskie z gwałownego przesilenia, w którém od pół wieku pasują się z sobą sprawy półwyspu, uprzedziłoby nakoniec skutki walki, nie narażając nikogo na klęskę. Gdyby je Europa przyjęła, odwróciłaby tém samem wojnę i jéj następstwa.

Aż dotąd łatwo jest iść za myślą, ożywiającą politykę francuzką względem Włoch, myślą sprawiedliwą, przezorną i szlachetną, która jedynie zmierzała do odwrócenia klęsk przez ustępstwa, do oddania książętom, służącéj im udzielnéj władzy i do postawienia znowu papiestwa w warunkach potęgi moralnéj, straconéj w gonitwach za politycznem znaczeniem. Kiedy depesze naszego rządu w sprawach włoskich, pisane przed wojną, wyjdą na jaw, wówczas okaże się cała jego troskliwość o wszystkie objęte w nich względy, a mianowicie o stolicę świętą.

Ale skoro walka stała się nieuchronną, jakież postępowanie zachować miała Francja w obec Rzymu? Dyplomacja znalazła, ze strony tego dworu, tylko złą wolę. Między wyborem rad nadsyłanych z Wiednia, lub z Paryża, kancelarja rzymska nie wahała się. Nad mądre ulepszenia, żądane przez Francję, przenosiła narzucaną sobie austryjacką opiekę. Powaga naszego orędownictwa już była zapoznaną; dobrodziejstwa naszéj zbrojnéj załogi prawie pogardzone. Zaledwie tajona niewdzięczność była zwiastunką otwartéj nieprzyjaźni. Serce Piusa IX było podchwycone i oszukane przez nienawistnych Francji prałatów, otaczających najbliżéj jego osobę. Nie zważając wszakże na ten stan rzeczy, cesarz najgoręcéj szukał środków ochrony politycznéj władzy Ojca św., wśród mającéj wybuchnąć walki.

Programmat jego stał się jawnym; nie mogąc otrzymać opieki Europy nad Włochami, doradzał federację wszystkich krajów niezależnych, któréj ogniskiem miał być Rzym, a Papież głową. Było to rozwiązanie i monarchiczne i katolickie włoskiego pytania. My sami, cośmy mieli zaszczyt tłumaczyć rzeczony programmat, wiemy lepiéj niż ktokolwiek, z jakiem urąganiem i obelgami przyjęło go stronnictwo, którego wpływ kierował Watykanem. W Rzymie i Paryżu obudziło się współzawodnictwo gwałtowności; zaprzeczono istnieniu włoskiego pytania, twierdzono, że prawa Austrji są nietykalne i w imieniu Papieża, odtrącano wszystko cokolwiek mogłoby go zespolić z odrodzeniem narodowości, któréj sprawę najznakomitsi jego poprzednicy związali z wielkością Kościoła.

Później, ale już zbyt późno, otworzyły się oczy i pomysł federacji włoskiéj, pod prezydencją Papieża, opisany w traktacie Villafranca, miał znaleźć obrońców w osobach, które najzawzięciéj i najnierozważniéj ten pomysł odpychały.

VIII.

Nakoniec wojna wybuchła; jakaż wówczas była pierwsza troska cesarza? Oto, umieścić państwa stolicy św. pod tarczą wysokiéj neutralności, dla osłonienia ich od przypadku bitew. P. minister spraw zagranicznych, w depeszy swojéj z d. 12 lutego, do ks. de Gramont, przedstawiciela Francji w Rzymie, podaje następną treść umowy, zapadłéj między dwóma cesarzami:

„Z rozpoczęciem kroków nieprzyjacielskich, strony wojujące uznały neutralność stolicy ś. Każda z nich i nadal zajmowała stanowiska, będące w jéj straży przed wojną. Zobowiązały się nie wznosić żadnych warowni, w zamiarze szkodzenia jedna drugiéj; słowem, zdawały się być przeniknionemi tą myślą, że nad ich przemijającemi nieporozumieniami, panuje myśl wyższa, równie dla obudwóch droga, t. j. myśl utrzymania porządku w państwach ojca św. Załogi Ferrary, Comacchio, Bolonji i Ankony mogły, z zupełném bezpieczeństwem, czuwać nad utrzymaniem spokojności w Legacjach i Marchjach, wówczas, kiedy załoga francuzka czuwała nad nią w Rzymie."

Rzeczone umowy były dostateczne do zaspokojenia bezpieczeństwa państw stolicy św. Francja, zostawiając Austryjaków na załogach, zajmowanych przez nich w krajach papieskich, czyniła ogromne ustępstwo, ale było to ustępstwo uszanowania i przywiązania dla ojca św. Polityka mogła na tém cierpieć, ale cesarz, wyżéj nad względy polityczne, stawił godność i niezawisłość głowy kościoła.

Wszędzie, gdzie powiewała nasza chorągiew, nie zaszło najmniejsze nawet ubliżenie powadze stolicy św. Wówczas, kiedy gra o wolności Włoch toczyła się na pobojowiskach Magenta i Solferino, rozgłosy, dochodzące ze wszystkich stron półwyspu, ani na chwilę nie zaburzyły spokojności wiecznego miasta. Wstrząśnienia, obalające trony parmeński, modeński i florencki, nie zachwiały Watykanem. Rzym drżał uczuciem patryotyzmu przy huku dział, rozstrzygającym dolę włoskiéj ojczyzny. Ale to drżenie, wstrzymywane silną i opiekuńczą ręką Francji, było tylko szlachetnym objawem wrażanego przez nią współczucia; starała się ona miarkować jéj objawy, aby nie były obrazą lub powodem niespokojności dla Piusa IX.

Jakże wówczas postąpiła Austrja? Nagle opuściła wszystkie twierdze, powierzone swéj straży. Jesteśmy przekonani, że to nie było rachubą z jéj strony, ale strategiczną koniecznością; jednak ten nagły odwrót musiał mieć łatwe do przewidzenia następstwa. Jéj załogi wznieciły przeciw rządowi papieskiemu wszystkie rozjątrzenia patryotyczne; jéj wyjście wydawało jego bezbronną władzę na reakcję długo tłumionego narodowego uczucia. Zostawiała za sobą władzę bezsilną, w obec rozżalonego ludu. Romanja więc nie podniosła rewolucji: nie potrzebowała dobijać się o niepodległość, znalazła ją w opuszczonych austryjackich koszarach.

Wierność Francji dla zasady neutralności, sprężystość postępowania jéj w Rzymie, w uspakajaniu objawów wynurzającéj się dla niéj wdzięczności; postępowanie tak mądre, szczere, pełne zaprzania, nie znalazły jednak nagrody w uczuciach względem siebie rządu papieskiego i między dostojnikami Watykanu, strzeżonego przez naszych żołnierzy, zwycięztwa Francji wzbudzały źle ukrywany smutek.

IX.

W pośród tych wszystkich przemian, stanął nagle traktat w Villafranca. Uświęcał on zasadę, któréj uznanie przez dwóch cesarzów, nie odwracając za Alpami wewnętrznych wstrząśnień, ręczyło przynajmniéj za pokój Europy i za wolność Włoch. Nieinterwencja państw obcych, była w prawie publiczném tarczą narodowości włoskiéj. Papiestwo, osłonione w saméj stolicy swéj władzy przez oręż francuzki, znalazło się w obec Romanji w powstaniu, Marchij i Legacij zaburzonych rozruchami, grożącemi dworowi rzymskiemu bliskiém nieszczęściem. Nazajutrz, po otrzymaném zwycięztwie, cesarz pisał do j. św. list świadczący o jego statecznéj troskliwości o dobro kościoła. Zastrzegając prawa stolicy św. nad Romanją, radził ojcu św. nadać, nie czekając na wymagania rokoszu, reformy od lat 30 żądane przez Europę w imieniu ludności państw rzymskich. „Błagam w. św., mówił cesarz, o wysłuchanie głosu przywiązanego syna kościoła, rozumiejącego potrzeby swojego czasu i wiedzącego, że zwierzęca siła nie wystarcza na rozwiązanie zadań i ułatwienia trudności. Widzę w postanowieniach w. św. albo zaród przyszłości, pełnéj chwały i pokoju, albo pasmo klęsk i gwałtów."

Tak więc, po zdobyciu takiéj sławy, po podpisaniu pokoju w Villafranca, po szczerém podaniu ręki Franciszkowi-Józefowi, troskliwość cesarza Napoleona natychmiast zwraca się ku papieżowi; chce go przypuścić niejako, do współnictwa swych zwycięztw. Oswobodził Włochy, lecz tego mu nie dosyć; pragnie je pogodzić z papiestwem. Lecz cóż dwór rzymski odpowiedział na to szlachetne wezwanie? Zamiast zaufać solferyńskiemu zwycięzcy, występuje ze swemi odkładami i przemilczeniami. Sama Austrja doradza reformy, jako jedyny środek ocalenia. Rząd rzymski jest niewzruszony.

Czegoż dopominał się? Oto powrócenia sobie Romanji. Rzym nie chciał niczego słuchać, nic ustąpić, dopóki ta prowincja nie będzie oddaną pod jego władzę. Czyż to było rzeczą możliwą? Kto miał siłę spełnić to posłannictwo? Austrja zwyciężona, nie śmiała, Francja zwycięzka nie mogła. Austrja, po swoich klęskach, znalazła się bezsilną do wznowienia na brzegach Adrjatyku, długiéj historji swego dawnego orędownictwa; Francja, która tylko co wyzwoliła Włochy, nie mogła też użyczyć swych żołnierzy, dla zastąpienia uciekających austryjackich załog. Obadwa kraje znalazłyby się wdane, przez to bezpośrednie działanie, w systemat interwencji, którego niepodobna było obliczyć wszystkich następstw i który obaliłby same zasady pokoju. Papież nie mógł też pokładać we własnych siłach lepszych nadziei; w obec zagrażającéj rewolucji, był bezbronnym.

Wszakże dwór rzymski nie pojął tego stanu rzeczy, lub poddać się mu nie chciał — i na dalszy czas przyrzeczone reformy odłożył. W pośród tych wahań, mających wkrótce zamienić się na zacięty upór, ludności Włoch środkowych, uwolnione od swych dawnych rządów, przez oddalenie się książąt, przygotowywały lub spełniały połączenia swoje z monarchją piemoncką i oskrzydlały państwa stolicy św., którym groziły, iż tak powiem swą niepodległością. Tu przypatrzyć się możemy, jak daleko posuniętém być może szlachetne postępowanie w radach i wierność w poświęceniu. Wypadki wzmagają się we Włoszech środkowych, nowe władze urządzają się, rokosz grozi Neapolowi i zalewa Sycylję. Jakież będzie wśród tych zdarzeń postępowanie dyplomacji francuzkiéj? Jakiém postępowaniem natchną dwór rzymski obecne potrzeby i podania jego władzy? Dowody téj wielkiéj sprawy złożono izbom; odwołamy się do ich świadectwa, mającego dziejową pewność i powagę.

P. Thouvenel ponowił dnia 26 lutego 1860 r., przez pośrednictwo ks. de Gramont, przełożenie wyjednania rękojmi europejskiéj dla państw ojca św., zastrzegając ustanowienie wikarjatu w Romanji i dołączył do swéj odczwy słowa, tak godne papieża, do którego je zwracał:

„Wówczas, gdyby nawet papież widział w tym układzie cząstkowe poświęcenie praw swoich, jako panującego, czyż nie znalazłby dostatecznego wynagrodzenia téj myśli, która powinna mieć swoją cenę w sercu monarchy, łączącego nazwę ojca z nazwą panującego, że potężnie przyłożyłby się do powrócenia spokojności Włochom, do uspokojenia sumień i ukojenia umysłów, które wszędzie w Europie trwożą się z przedłużającego się przesilenia, któremu tyle względów najwyższego porządku nakazują położyć tamę?"

Aby zdać sobie sprawę ze szczerości, z jaką rząd cesarski pracował nad rozwiązaniem mogącém ocalić władzę świecką papieża, należy przypatrzyć się, z jaką sprężystością jego dyplomacja usiłowała natchnąć gabinet turyński duchem rozsądnych układów. W tymże czasie, kiedy starała się przekonać Rzym o potrzebie ustępstw, usiłowała ona skłonić rząd króla Wiktora-Emmanuela, aby chciał być tylko przedstawicielem papieża w Romanji. W depeszy, zasługującéj na szczególną uwagę, d. 22 lutego 1860, do barona Talleyrand, naszego posła w Turynie, minister spraw zagranicznych, nalega na hr. Cavour najusilniéj, aby przystał na powyższy układ; aby go do tego skłonić, używa stanowczych dowodów, oświadczając bez ogródki, że jeśli Sardynja go odrzuci, będzie odpowiedzialną za swoje postanowienie i nie powinna liczyć na Francję, w wypadkach, jakie wywoła tą swoją odmową.

Ale i w tym razie opór miał wyjść z Rzymu, na te rozsądne i szczere przełożenia; gabinet tuilleryjski nie traci odwagi; cesarz przedstawia stolicy św. do przyjęcia nowy układ, który p. Thouvenel miał przesłać wszystkim dworom katolickim, a którego treść wyrażona została w jego depeszy, 8 kwietnia:

„Organizacja, w któréjby ani Austrja, ani Francja udziału mieć nie mogły, oddziału wojska, przeznaczonego czuwać nad utrzymaniem porządku w Rzymie; pomoc pieniężna, składana papieżowi przez państwa katolickie; nakoniec, ogłoszenie w krajach rzymskich reform, już przez j. św. potwierdzonych."

W tém orędownictwie mieściło się więcéj niż pomoc udzielona słabości, był w niém hołd, złożony wiekowéj wielkości stolicy św. Świat katolicki miał się znowu zespolić przez swe poświęcenie z dolą ludzką kościoła. Szczególne znamię tego orędownictwa cześć jego podnosiło, Dla jakiegoż innego państwa narody katolickie przyjęłyby podobne obowiązki, jeżeli nie dla panującego, który rządzi duszami w imię Boga i którego ręka podnosi się z błogosławieństwem nad światem? Włochy uspokojone; jedność włoska, któréj roszczenia grożą Rzymowi, ostatecznie skrępowana; papiestwo wyszłoby z najstraszliwszego, może, przesilenia, zaszczycone uszanowaniem ludów i wzmocnione ich poświęceniem.

Tak zrozumiały to państwa katolickie. Hr. Rechberg w imieniu swego dworu, dał najprzychylniejszą odpowiedź, tak dalece, że p. Thouvenel mógł napisać d. 23 kwietnia do margr. de Moustier: „Mam nadzieję, że łatwo nam będzie porozumieć się z dworem wiedeńskim." Minister Neapolitański oświadczył, że król jego był gotów przyczynić się do powyższego postanowienia. P. Barrot, poseł francuzki w Hiszpanji, doniósł w następny sposób, w depeszy swojéj d. 24 kwietnia, o odpowiedzi dworu madryckiego: „P. Collantes nie zaprzecza, że ojciec św. objawia upór, że wnet po przywróceniu swojém na tron, zapomniał nauk 1848, i wstrząśnienia rewolucyjnego, co go zmusiło do ucieczki z państw swoich, oraz o pomocy przez Opatrzność zesłanéj, która go nazad do nich wprowadziła." Przedstawiciel zaś cesarza przy królowéj Izabelli, dodawał: „Pierwszy sekretarz stanu sądzi, że to przełożenie natchnięte jest przez zdrowe i dojrzałe pojęcie prawdziwego dobra stolicy św. i że daje jedyną możność ocalenia od rewolucji, bez zupełnego poświęcenia tego, co już stracono, prowincij, zostających jeszcze pod władzą stolicy św., a z nią, może, i papieskiego świeckiego rządu."

Podobneż uczucie znaleziono i w Lizbonie. Minister spraw zagranicznych p. Casal-Ribeiro, odpowiedział: „Ponieważ, na nieszczęście, Papież odrzuca te przełożenia, nie pozostaje nic przeto, jak oddać rzeczy biegowi czasu."

X.

Tak odzywała się dyplomacja narodów katolickich. Wiedeń, Neapol, Madryt, Lizbona zgadzają się z myślą Francji. Na tych dworach, którym zarzucić nie można uległości wpływowi Francji, osądzono stan rzeczy tak, jakeśmy go sami osądzili, przychylano się do polityki polubownéj, któréj gabinet tuilerijski kolejno wyczerpywał wszystkie zasoby.

W tym czasie zamiary podniecenia umysłów, objawiające się we Francji, w imię religji, ale pod natchnieniem i w widokach polityki podwoiły swój zapał. Pod płaszczem pobożności stanęła koalicja między synami Woltera i synami krzyżowców; gwałtowne pamflety czerniły zamiary i postępowanie rządu; niektórzy z biskupów, uwiedzeni żarliwością wiary, dali się wciągnąć do tego ruchu; odgłos całéj téj wrzawy, doszedłszy do Rzymu, mógł wzbudzić wiarę w opor powszechnego mniemania. Do tego stopnia doszło złudzenie, iż wyobrażono sobie, że cesarz stoi osamotniony we Francji i że pojątrzył wszystkie sumienia. To uczucie, zdradliwie ożywiane, musiało wielce przyczynić się do oziębłości, z jaką w Watykanie przyjęto przełożenie, do którego przychylały się wszystkie katolickie państwa. Podajem tu ciekawą odpowiedź kard. Antonelli na przełożenia ks. de Gramont; zapisana ona jest w depeszy 14 kwietnia: „Stolica św. nie przystąpi do żadnego protokołu, który jéj nie zaręczy powrótu Romanji i aż do tego czasu odłoży spełnienie reform, na które już Ojciec św. przyzwolił; niezłomnie postanowił nigdy nie przyjmować żadnéj rękojmi, co do krajów, pozostałych pod jego panowaniem, bo w jego oczach byłoby to uznawać różnicę między posiadłościami, ktore jeszcze dzierży, a temi, które mu wydarto. Papież odrzuca systemat zapisania rocznego dochodu w wielkich księgach rządowych; zgodziłby się tylko na układ, mający formę potwierdzenia dawnych opłat kanonicznych, pobieranych z wakujących beneficjow. Co do pomocy wojsk dostarczanych, Stolica św. woli aby jéj nie przeszkadzano zaciągów na własną rękę."

Wszystkie usiłowania pojednawcze roztrąciły się o ten opór, pobudzony i ośmielony przez tak kłamliwe ocenienie stanu Francji kard. też Antonelli oświadczył ks. de Gramont, w rozmowie szczegółowie powtórzonéj, w depeszy naszego posła: „Papież nigdy nie przystąpi do układów."

Precz z układami! takie było ostatnie słowo téj polityki, ślepo uległéj zgubnym i antifrancuzkim wpływom, które światła czujność ks. de Gramont wyjaśniała.

X.

W ten sposób, dwór rzymski wszystko odrzucił; uchylił wikarjat w Romanji, jako ubliżenie swoim najwyższym prawom, nieistniejącym już w téj prowincji; nie przyjął zbiorowéj rękojmi państw katolikich, zapewniającéj całość pozostałych, po wojnie, posiadłości; odepchnął, jak rzecz niemal upakarzającą, ofiarę pobożnego hołdu, opłacać się mającego przez wszystkich panujących, uległych duchownemu zwierzchnictwu Ojca św. Nie zgodził się na przełożenie dostarczeń straży przez wszystkie narody, posłuszne Stolicy św. Jakież więc obierze stanowisko dwór rzymski. Czyż pozostanie nieruchomym widzem, wypadków gromadzących się we Włoszech? Czyż będzie czekał w skupieniu ducha i nadziei, godziny naprawy? To mogłoby się pojąć. W rezygnacji spoczywa pewien rodzaj surowéj cnoty, uzacniającéj nieszczęście i nakazującéj poszanowanie; ale rezygnacja nie weszła do serc doradzców Piusa IX.

W tym samym czasie, w którym oburzał się na myśl prawidłowego uposażenia, przekładanego przez panujących katolickich, rząd papieski starał się o ofiary pojedyńczych osób a wszędzie urządzał pobór świętopietrza. W czasie, w którym odmawiał przyjęcia żołnierzy, oddawanych na jego usługi przez poświęconych dla niego panujących, zaciągał ochotników. Cesarz statecznie doradzał utworzenie wojska narodowego, jako świadectwo przyrodzonego bezpieczeństwa; rząd rzymski, głuchy na te rady, zabierał się do utworzenia wojska, bez narodowości, bez jedności. To usiłowanie, objawiało się z rozgłosem mającym przypomnieć wielkie objawy religijne innych czasów i aby nic nie zbywało do téj wystawy, postanowiono na czele téj krucjaty jenerała, którego Francja nie widziała pod swemi orłami, w naszych bohaterskich walkach krymskich i włoskich. Powiedzmy otwarcie, kiedy prałat rzymski (ks. Mérode), znany z osobistéj nienawiści dla polityki francuzkiéj, przybył aż w głąb Andegawji, odwołując się do odwagi i poświęcenia jen. Lamoriciére, mniéj mu chodziło o bohatera Konstantyny niż męża politycznego, w rozbracie z rządem swego kraju. Cesarz, zajęty wyższemi myślami nie sprzeciwiał się temu wyborowi, lubo nie jeden niezbaczny wyraz zdradzał już nadzieje, pokładane w imieniu naczelnego wodza wojsk papieskich.

„Potężne kmotrowstwo na Watykanie, pisał w owym czasie ks. de Gramont, usiłuje nadać temu powołaniu znamię rzuconéj rękawicy Francji." Całą odpowiedzią cesarza na tę przestrogę był pośpiech, z jakim, na żądanie Ojca św. pozwolił jen. Lamoriciére wejść do obcéj służby.

Stronnictwo, ukrywające pod pozorem religijnéj gorliwości, nienawiść swoją przeciw cesarstwu, głośno przyklaskiwało. Usiłowano urządzić objawy, obębniano niemal Wandeę i z początku rzucano jednostajną klątwę na synów rewolucji i wyznawców Koranu. Ks. de Gramont skreślił, w jednéj ze swoich depeszy, nauczający obraz obrótów, któremi chciano wówczas ogarnąć Watykan.

„Zaledwie, pisał 10 kwietnia 1860, p. Lamoriciére wszedł do służby papieskiéj, wnet ujrzano przybywające do Rzymu liczne deputacje francuzkie, które gromadnie i wystawnie przedstawiały się Ojcu św., przybierając wszystkie znamiona najwyraźniejszéj dynastycznéj oppozycji i przemawiające, u podnóża tronu papieskiego, językiem zdradzającym najwyższe zapędy." Ks. Gramont dodaje, że kilku, znacznego wpływu kamerjerów (Szambelanow) zachęcało rzeczone deputacje.

Pewnego dnia, według jego świadectwa, duch tajemnicy panował w Watykanie... Zatrzymywano odwiedzających, zapytując: Czy jesteś Bretańczyk? I tłumaczono, że sale są właśnie zamknięte, gdyż Ojciec św. przyjmuje hołd Bretanji, która, przez deputacje, przybyła protestować przeciw cesarzowi.

Z kolei następowali Lyończycy i jeden z nich, chociaż gorący katolik, nie sądził, aby powinien był wyrzekać się swéj narodowści; żwawo więc go zagadnięto w te słowa: „Mości panowie, każdy jest poddanym papieża wprzódy nim został poddanym swojego monarchy. Jeśli nie podzielasz tych przekonań po co tu przybyłeś?"

To wszystko wypisane jest w depeszach urzędowych i poświadczone przez posła, którego imię i osobistość podnoszą jeszcze wiarogodność podobnych dokumentów. I gdy pomyślimy, że te śmieszne sceny odbywały się, w pewnym względzie, pod opieką wojska francuzkiego, łatwo pojąć jak ogromném było umiarkowanie cesarza. Ta parodja Koblentzu, te dziecinne naśladownictwa czasów Grzegorza VII, to dziwne rozróżnianie Bretonów od Francuzów, te hołdy składane papieżowi, nie jak głowie kościoła, ale jak panującemu, nie zasługiwały na to, aby cesarz wychodził z tego spokoju, który czerpie w swojéj sile i swojém prawie. Lecz jeśli nie widział w tém niebezpieczeństwa, znajdował przynajmniéj niezaprzeczony dowód uczuć, żywionych w Rzymie dla Francji i panującego z jéj wyboru.

XII.

Złudzenia, którym się tak niebacznie oddawano, miały być wkrótce okrutnie zawiedzione; bo Garibaldi, radząc się tylko swéj odwagi, rzeczywiście wylądował w Marsala. Przebiegłszy Sycylję, najechał, na czele swych zastępów, królestwo neapolitańskie, którego monarchja miała dopiero uzacnić się bohaterstwem obrony, w ostateczności swojego pogromu. Szczęśliwy wojownik napróżno usiłował przejawić się nagle w męża stanu: pod jego ludową dyktaturą, panował duch Mazzinego. Wolność włoska mogła zginąć w tryumfie rewolucji. Piemont sądził, iż winien był samemu sobie, własnemu bezpieczeństwu, ocaleniu Włoch, wśród których on wyłącznie przedstawiał jedność władzy królewskiéj i niepodległości narodowéj, uprzedzić to groźne zwycięstwo namiętności anarchicznych, sam poskramiając i kierując ruchem włoskim.

Między królestwem neapolitańskiem i krajami sardyńskiemi, leżały posiadłości papieskie. Piemont nie wahał się dłużéj; widział bowiem w Rzymie jenerała, który obejmując dowództwo, otwarcie oświadczył się ze swą nieprzyjaźnią sprawie, któréj Wiktor-Emmanuel był przedstawicielem. Najazd więc prowincij papieskich był, w oczach Piemontu, otwartem uderzeniem na reakcję, któréj siedlisko było w Rzymie i ostróżnością przeciw rerolucyjnym uniesieniom, których ognisko gorzało w Neapolu.

Cesarz Napoleon stanowczo wypowiedział swe zdanie co do tego rozporządzenia: odwołał posła swojego z Turynu i podwoił wojsko w Rzymie. Tak więc, spółcześnie, nagana jego dotykała rząd sardyński, a poświęcenie otaczało Ojca św. skuteczniejszą opieką.

Ale cóż miało czynić wojsko papieskie w obec wojska piemonckiego? Jak miał zachować się wódz, który mu przewodniczył i którego tyle hołdów przed niewielu jeszcze dniami pozdrawiało jak zbawcę zdradzonego papiestwa? Jen. Lamoriciére miał wybor między dwiema drogami: cofnąć się przed najezdnikami z wojskiem nieprzygotowanem jeszcze do boju, protestując przeciw zgwałconéj neutralności Stolicy św. albo doświadczyć, w nierównym boju szczęścia oręża. Z tego dwoistego postępowania jedno tylko było polityczne i rozumne: była niém protestacja. Jen. Lamoriciére znany jest z męztwa, odwrótu jego nikt by nie wziął za lękliwość. Wybierając opór, naraził się na to, że odwagę jego wzięto za nieprzezorność.

Wiadomo co nastąpiło. Nic nie jest boleśniéj wymównem nad sprawozdanie naczelnego wodza wojsk papieskich. Szczęściem dla czci wojskowéj, dzieje mało przedstawiają przykładów podobnego pogromu przed bitwą; jego klęska nadwerężyła władzę świecką papieża i zostawiła przegranéj zwodniczy urok zuchwalstwa. Okryło to żałobą wszystkie dusze religijne. Chciano zamienić w tryumf pogrzeb ochotników, którzy szlachetnie poświęcili życie. Ani rządu cesarskiego, ani mniemania powszechnego nie wzruszyły te objawy i sam jen. Lamoriciére wróciwszy do Francji, po téj jednodziennéj wojnie, określił jéj prawdziwe znaczenie, odmawiając przyjęcia składanéj mu honorowéj szabli.

Papiestwo znalazło się znowu bez obrońców. Odrzuciwszy rękojmię Europy, i pomoc katolickiego świata, które troskliwość cesarza chciała dlań zapewnić, papiestwo ujrzało swe wojsko rozbite, swoje prowincje najechane i rewolucją posuwającą się groźnie aż pod bramy Rzymu. Któż ocalił je od tego nieszczęścia, tak niebacznie wywołanego? Jeszcze cesarz. Nie tylko wojsko jego strzegło Rzymu, ale osłoniło ojcowiznę św. Piotra, z któréj Piemontczycy ustąpili na nasze żądania. I przez dziwną sprzeczność, w pośród rad zdradzieckich, lub zaślepionych, chcących pociągnąć papieża na wygnanie, aby zamienić go na missjonarza ich uraz, Francja znowu odwróciła Piusa IX od tych rozpacznych postanowień i zatrzymała następcę Apostołów przy grobie św. Piotra. *(d. n.)*

Poglądy Monitora Powszechnego.

Paryż. *21 lutego.* Wspomnieliśmy wczoraj o odpowiedzi marszałka polnego Fergola, na przesłane mu wezwanie poddania twierdzy messyńskiéj. Depesza prywatna z Turynu oznajmuje, że admirał Persano i jen. Cialdini udali się pod tę warownię, z siłami lądowemi i morskiemi. Jen. zaś Mezzacapo, wyruszył z wojskiem pod Civitella del Tronto.

Gazeta Urzędowa turyńska umieściła tekst kapitulacji gaeckiéj.

Parlament piemoncki zajął się pracami wstępnemi; izba deputowanych rozpoczęła rugi. W senacie, krzesło prezesa zajął wice-prezes Selopis, gdyż mianowany przez króla Wiktora-Emmanuela prezesem senatu, Ruggiero Settimo, uchylił się od tego zaszczytu, z powodu nader podeszłego wieku i zwątlonego zdrowia.

Depesza otrzymana, dziś wieczorem, z Turynu, donosi, że ministrowie wnieśli na senat projekt do prawa, nadającego Wiktorowi-Emmanuelowi i jego następcom nazwę króla włoskiego.

Podczas gdy parlament turyński stawi pierwsze swoje kroki, stary parlament angielski toczy swe obrady bitym gościńcem. Mówiliśmy o projekcie reformy, wniesionym przez p. Loke-King. Nie pierwsze to usiłowanie wprowadzenia do dziennego porządku pytań, które gabinet postanowił odroczyć. Jeden ze znakomitych członków stronnictwa liberalnego p. Baines, podobnież wniosł projekt rozciągnienia praw wyborczych w Anglji i Wallji na dzierżawców, płacących po 6 f. st. czynszu. Obudwóm tym wnioskom, izba gmin dozwoliła zaszczytu *pierwszego czytania.* Ale z krótkich rozpraw, które poprzedziły głosowanie i z listów otrzymanych z Londynu, jasno widzieć się daje, że tylko, przez wzgląd na wnoszących, na to czytanie przyzwolono. Lord Palmerston oświadczył, że wniesienia tego rodzaju powinny by tylko wychodzić od rządu, któremu obecna chwila zdaje się być niewczesną. Z drugiej strony, przywódca oppozycji, p. Disraeli, zgodził się na czytanie bilu, tylko pod tym warunkiem, że już potém mowy o nim nie będzie. Przy takiem postępowaniu oppozycji i zwolenników gabinetu, bile reformy nie mają najmniejszéj nadziei powodzenia i nie ma wątpliwości, że zostaną cofnięte.

Inne daleko ważniejsze głosowanie odbyło się na témże posiedzeniu. Mimo żwawą oppozycję kanclerza szachownicy, p. Gladstone, izba gmin przyjęła wniesienie p. Hubbard, domagającego się wysadzenia kommissji, na zbadanie porządku obliczenia i poboru podatku od dochodów. Wniesienie przyjęto większością 4 głosów, przez 131 przeciw 127 członków. Jest to nie mały kłopot dla kanclerza szachownicy, którego wszystkie skarbowe rachuby wypadek badania pomieszać może.

Piszą z Prus, że izba panów ma zamiar wytrwać w swéj oppozycji przeciw reformom, wniesionym przez rząd. Projekt o małżeństwach cywilnych odrzucony został przez kommissję upoważnioną do jego zbadania, większością 10 głosów, przeciw jednemu. Niechce nawet przyjąć małżeństwa cywilnego, choćby narzeczeni zobowiązali się do zawarcia natychmiast ślubu kościelnego.

Depesza nadesłana z Madrytu daje bliższą wiadomość o zatargach Hiszpanji z nowym meksykańskim rządem. Ministrowie hiszpańscy oświadczyli Kortezom, że skoro otrzymają urzędowe doniesienie o tém, że Juares rozkazał doręczyć pasporta p. Pacheco, objawią Kortezom o tém co postanowili, dla obrony czci narodowéj. Tymczasem siły lądowe i morskie odebrały rozkaz działania w razie potrzeby.

Dnia 22 lutego. Nic nie nadeszło dzisiaj ważnego z Włoch; depesze ograniczają się doniesieniami o pewnego rodzaju wzburzeniu umysłów w Rzymie, sprawionem przez wypadki, spełniające się w Turynie, tudzież o radośnych objawach w niektórych miastach Weneckiego kraju. Ksiądz *Passaglia*, o którym dzienniki tyle mówiły w ostatnich czasach, miał wrócić do Rzymu. Zarząd neapolitański nałożył sekwestr na dobra zgromadzeń zakonnych. Załoga Gaecka składała się z żołnierzy neapolitańskich i cudzoziemskich. Podług jednéj depeszy, Neapolitańczyków rozesłano na wyspy przyległe. Co do cudzoziemców, umieszczono ich w twierdzach piemonckich, aż do zupełnego spełnienia warunków kapitulacji.

Izba gmin w Anglji zajmowała się przez chwilę sprawami Włoskiemi, z powodu wystąpienia pana Howard, który żądał, aby rząd użył swojego wpływu na wstrzymanie rozlewu krwi i aby rozkazał swoim ajentom dostarczać wiadomości o przedsięwziętych środkach do przywrócenia porządku. Lord John Russell przyznał, że dopuszczono się arcy srogich postępków, o których bez boleści wspomnieć nie można. Ale minister jest przekonany, że król Piemoncki zawsze pragnął, aby wojna toczona była z największą ludzkością. Nakoniec oświadczył, że podług świeżo otrzymanych wiadomości, Włochy południowe cieszą się takąż samą spokojnością, jak północne.

Izba lordów, która wcale nie wtrąca się w reformę wyborczą, tylko wtenczas, kiedy izba gmin wciągnie ją do jéj roztrząsania, usłyszała jednak wczoraj kilka przemówień, będących odgłosem słów pp. *Loke-King* i *Baines*. Lord *Stratheden* nastawał na potrzebę większéj rozciągłości swobód wyborczych. Rozumie on, że cześć parlamentu wdana jest w to pytanie i jeżeli opuścił je w téj chwili, lud angielski wcale go nie opuścił. Szlachetny lord chciałby, dla odwrócenia niebezpieczeństw zdających się mu być wielkiemi, ujrzeć reformę umiarkowaną, któraby mogła ukoić umysły i rozproszyć obawy o przyszłość. Ale ponieważ ten przedmiot nie był na porządku dziennym, po wynurzeniu więc swego życzenia, mówca zaprzestał na żądaniu wykazu liczby wyborców, płacących po 40 szyllingów w *księstwie Wallji*, co bez trudności lord Granville uczynić przyrzekł.

Przedsięwzięty przez rząd austryjacki środek względem miasta i obwodu *Fiume*, ogłoszonych w stanie oblężenia, wywołał ze strony przedstawicieli miasta Pesztu krok, dowodzący, do jakiego stopnia są zawikłane i sprzeczne widoki i roszczenia rozmaitych krajów państwa Austrjackiego. Zgromadzenie Pesztańskie uchwaliło adres do cesarza żądający, aby stan oblężenia cofnięto, jako obrażający Węgry, aby bana Kroacji oddalono od urzędu i zastąpiono rodowitym Węgrem, i aby w Fiume przywrócono do mocy obowiązującéj konstytucję Węgierską.

Nie wchodząc w to, jak powyższy adres przyjętym będzie w Wiedniu, można dziś już twierdzić, że roszczenia, z któremi Węgrzy w nim wystąpili, podobać się nie mogą Kroatom. I rzeczywiście, tenże sam goniec co przywiózł adres Pesztański, daje szczegóły o objęciu urzędowania przez nowego naderspana w *Zagrzebiu*, który w mianéj, z tego powodu mowie, wynurzył wprost przeciwne uczucia. „Byłoby rzeczą niegodną, rzekł naderspan, szlachetnego narodu kroackiego, aby miał opierać się na cudzoziemcach... Tylko lud wolny może sprzymierzyć się z ludem wolnym, wolny naród kroacki z wolnym narodem Madżiarskim. Nasi przodkowie walczyli za wolność, ale obok tego, walczyli też i za prawa ludu kroackiego i kraju kroackiego. Gdybyśmy nie czynili tak jak oni, bylibyśmy niegodni naszych, przodków i popioły ich przewróciłyby się w ich grobach. Zapał mówczy kroackiego naderspana nie pozwala wierzyć

aby naród kroacki gorąco pragnął zamienić swojego bana na Węgierskiego gubernatora.

D. 23 lutego. Dzienniki *Neapolitańskie* oznajmiły, że *Civitella* poddała się wojsku sardyńskiemu; depesza prywatna Turyńska, zaprzecza téj wiadomości. Co do Messyny, rzeczy mają się jak dawniéj. Admirał Persano podpłynął pod tę twierdzę, lecz dotąd niewiadomą jest odpowiedź marszałka polnego *Fergola,* na przesłane mu wezwanie. Jenerał Cialdini pozostał w Neapolu; w razie odmowy poddania twierdzy, połączy z flotą lądowe wojska. Zdaje się, podług innéj prywatnéj depeszy Turyńskiéj, że nowe utarczki miały miejsce między bandą neapolitanów, dowodzoną przez hr. *Christen* i ochotnikami Piemonckimi, na granicy obwodu *Rieti.* Neapolitanie mieli rzucić się na Carsoli i z początku zmusić ochotników do ucieczki, lecz półkownik piemoncki Masi miał im pośpieszyć na pomoc; uderzyć żwawo na siły nieprzyjacielskie i ścigać je aż do Oricola. Nie nadeszła żadna depesza z Rzymu, sprawdzająca powyższy wypadek, który jednak dowodzi, że uspokojenie od strony Abruzzów nie jest jeszcze zupełne. Izba deputowanych w Turynie, nie może przystąpić do żadnych rozpraw politycznych, dopóki nie odbędzie rugów, co tłumaczy, dla czego projekt do prawa, nadającego Wiktorowi-Emmanuelowi nazwę króla Włoskiego, wniesiono do senatu. W tém ostatniem zgromadzeniu, odzywały się głosy, aby to prawo uchwalić natychmiast, jako niecierpiące zwłoki; lecz jeden z członków zrobił uwagę, iż przyzwoitość nakazuje wstrzymać się z głosowaniem, dopóki izba wyborcza prawnie urządzoną nie zostanie. Zdaje się, że to zdanie przemogło.

Węgrzy nie ustają roztrząsać po komitatach, swoich wewnętrznych urządzeń; w zapale zaś odbudowania przeszłości, niekiedy natrącają na ostateczne niepodobieństwa. Tak np., w konferencji wydziału sądowego, odbytéj w Peszcie, wnoszono przywrócenie praw spadkowych węgierskich. Po długich sporach przyznano, prawda że słabą większością, że wskrzeszenie w zupełności rzeczonych praw jest niemożliwe.

Listy z Berlina donoszą, że rozkazem gabinetowym, z d. 18 stycznia, król Pruski postanowił, iż wydawane przezeń rozkazy do wojska nie będą kontrasygnowane przez ministra wojny. Podpis ministra wówczas tylko będzie potrzebny, kiedy rozkazy ściągać się mają do zarządu lub budżetu wojska.

Prywatna depesza z Madrytu potwierdza, że układy o wypłatę zwrótu nakładów wojennych stanęły między Hiszpanją i Marokiem. Skoro połowa summy zostanie uiszczoną, druga zaś dostatecznie zapewnioną, załoga hiszpańska opuści *Tetuan.* Powyższe postanowienie przesłano do *Tangeru* przez umyślną fregatę.

Wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, zmieniają się z każdem przybyciem pocztowych statków. Przeszłego tygodnia, listy i dzienniki oznajmywały o mnogich pojednawczych usiłowaniach, które zdawały się, iż doprowadzą do celu. Dziś, głuche milczenie o konferencjach pokojowych, odbywanych w Waszyngtonie, ani o kupieckich objawach, w duchu jedności, lubo handel przez obadwa stronnictwa jest zagrożony. Depesza prywatna, otrzymana dziś zrana z Londynu, mówi tylko o niezgodzie i wojennych przygotowaniach. Wiadomości dochodzą do 11 lutego: Stany południowe zaprowadziły rząd tymczasowy, którego prezydentem obrano pana *Davis,* a wice-prezydentem pana *Stevens.* Luizjana potwierdziła te uchwały. Ponieważ wszystkich kroków zgody lub układów zaniechano, uderzenie na twierdzę *Sumter,* miało nastąpić d. 12 lutego. Rząd związkowy posłał posiłki.

Kommissje, którym senat i ciało prawodawcze poruczyły ułożenie adresów do cesarza Napoleona III, bardzo posunęły swoje prace. Sądzą, że projekt senatu będzie mógł być odczytany w poniedziałek, t. j. d. 25 lutego na posiedzeniu publicznem i że rozbiór projektu, który w dawnéj izbie parów miewał zawsze miejsce nazajutrz po jego odczytaniu, rozpocznie się najdaléj we środę, t, j. 27 lutego. Co do projektu ciała prawodawczego, spodziewają się, że złożonym zostanie izbie w pierwszych dniach następnego tygodnia.

Dnia 23 lutego. Główne przedmioty, zajmujące dziś Paryż są: bankructwo p. Mirès; adres izb, odpowiedź ks. Dupanloup, biskupa orleańskiego na broszurę, p. de la Guerronnière i konferencja w sprawie syryjskiéj. Co do pierwszego, nieszczęście jest niezaprzeczone: upadek tego ogromnego bankierskiego domu, dotknie nie tylko prywatnych, ale i rządy. Roboty publiczne, które p. Mirès zobowiązał się wykonać w Marsylji, choć na krótko, zostaną przerwane, podobnież i drogi żelazne w państwie kościelném, będą musiały przejść w inne ręce, ale nadewszystko, dla Turcji będzie to cios najdotkliwszy, który może rozstrzygnie rozprzężenie tego zbutwiałego państwa. W tym razie jeszcze złe wyszłoby na dobre. P. Mirès został tymczasowie uwięziony, trybunał handlowy paryzki, zajął się najczynniéj wyjaśnieniem bilansu majątkowego upadłego domu, wyrok wkrótce ogłoszony będzie, wówczas treść jego podamy, która zapewne wyjaśni powody tego nieprzewidzianego zdarzenia.

Co do adresów izb, Monitor zapowiedział, że d. 15 (27) lutego, senat, a w kilka dni późniéj, ciało prawodawcze, miały przystąpić do ich rozbioru. Najrozmaitsze pogłoski obiegały Paryż z tego powodu. Stronnictwa, stosownie do rządzących niemi namiętności, jedne twierdziły, że senatorowie i przedstawiciele narodu zaklną cesarza, aby bronił władzy świeckiéj Papieża, inne, że najusilniéj cesarz będzie proszony o cofnienie wojska swego z Rzymu i o zostawienie samym Włochom załatwienia téj sprawy czysto włoskiéj, inne nakoniec, aby wojska pozostały na miejscu i wykonały plan pierwotnie przez cesarza nakreślony, t. j. urządzenie dziedzicznego wikarjatu. Dotąd to tylko pewna, że w biurach odzywały się głosy każdéj z tych wskazanych treści, że nawet ks. Napoleon, w pełném ognia przemówieniu, zabrał obronę teścia swojego, króla Wiktora-Emmanuela i dowodził, że władza świecka Papieża przeciwna jest, nie tylko szczęściu Włoch, ale przyszłéj spokojności Europy.

Odpowiedź ks. biskupa orleańskiego, rozmaicie porusza umysły: ma ona zawierać potępienie rządu francuzkiego i dowody, że władza świecka jest niezbędnie potrzebną dla dobra kościoła. O ile z listów pisanych z Paryża do dzienników, domyślać się godzi, dostojny autor, z większą niż kiedykolwiek gwałtownością gromi swoich przeciwników. Nakoniec, co do ostatniego pytania, t. j. wyprawy Syryjskiéj, która, podług umowy podpisanéj d. 5 września, trwać tylko miała do d. 5 marca, największe na ten przedmiot rzucają światło dwie noty książęcia Gorczakowa, które *Dziennik* francuzki petersburski z d. 12 (24) umieścił. Powtarzamy je w dosłównym przekładzie:

I.

Do ks. Łabanow-Rostowskiego w Konstantynopolu.

St. Petersburg, 12 stycznia 1861.

Sprawozdanie p. Nowikowa, dołączone do pisma w. ks. m. z d. 28 grudnia (9 stycznia), odczytane zostało z całą uwagą, jaką zwykliśmy przywiązywać do arcydokładnego postępowania naszego kommissarza, równie jak do trafności jego sądu. Nastręczyło mi ono kilka postrzeżeń, które powinienem w. ks. m. udzielić, prosząc o przesłanie ich p. Nowikow, równie jak i wszystkie inne szczegóły, tyczące się jego posłannictwa.

Pismo pod liczbą 47, obejmujące wywod wstępnych objaśnień, wymienionych między kommisarzami, co do trwania wyprawy francuskiéj, nadewszystko zwróciło naszą uwagę, ponieważ dotyka bardzo drażliwego pytania, które, jak tego oczekiwać powinniśmy wytoczy się wkrótce między gabinetami. Potwierdzamy w zupełności wszystko co p. Nowikow wówczas powiedział. Podług naszego zdania, zajęcie zbrojne Libanu przez wojsko francuzkie, nie powinno mieć innych granic, tylko zupełne doścignienie celu, w jakim zostało przedsięwzięte, za zgodą wielkich mocarstw.

Niepodobna jest przypuścić, że jego zadanie już dokonane i że kraj wszedł już w stan normalny, który dłuższy pobyt wojsk francuzkich czyniłby niepożytecznym. Przeciwnie, mamy to przekonanie, że otrzymane dotąd zbawienne skutki, głównie zależą od obecności wojska francuzkiego i że jego odpłynienie byłoby hasłem reakcji tém gwałtowniejszéj, przeciw czynom sprawiedliwości i poskromienia, których były powodem i wsparciem, ze stopnia umocowania wielkich mocarstw. Chodzi tu nie tylko o sprawę ludzkości, która powinnaby mieć pierwszeństwo nad wszelkiemi innemi względami, ale o pytanie pierwszego rzędu, obchodzące dobro Europy, któréj godność i moralna powaga doznałyby ciężkiego uszczerbku, gdyby spełnienie jéj woli, wyrażonéj tak uroczyście i w rzeczy tak sprawiedliwéj, znalazło się wstrzymaném przez względy podrzędne, i to przed ostatecznem osiągnieniem celu, zakreślonego jego działaniu. Francja, w szczególności, która otrzymała i przyjęła to poruczenie, wdała w to swoją cześć wojskową; narażałaby ją na zniewagę, zostawując niedokończoném swe dzieło. Wielkie mocarstwa, które ją do tego umocowały, byłyby odpowiedzialne za wyniknąć mogące stąd klęski i za nierównie większe jeszcze trudności, jakie nowe zatargi, zbyt do przewidzenia łatwe, utworzyłyby w polityce powszechnéj.

W tym duchu, z rozkazu Cesarza, wszędzie przemawiać będziemy, gdziekolwiek wezwani zostaniemy do wynurzenia naszego zdania.

Proszę przyjąć i t. d. *Gorczakow.*

Do hr. Kisielew w Paryżu.

St. Petersburg, 20 stycznia 1861.

Mam zaszczyt przesłać waszéj dostojności, odpis depeszy p. Thouvenel do ks. Montebello, którą udzielił nam poseł francuzki z rozkazu swojego rządu.

Ściąga się ona do zbrojnego zajęcia Syrji. Czas zakreślony jego trwania, przez konwencję 5 września 1860, zbliża się do końca; rząd więc francuzki, przekłada zebranie konferencji, dla rozstrzygnienia: czy wojsko ma być odwołane, lub nadal zostawione. Jesteśmy gotowi zgodzić się na to przełożenie; w danym więc razie, jesteś, p. hrabio, upoważniony, z rozkazu Cesarza, być uczęstnikiem konferencji.

Co do stanowiska, jakie masz w niéj zachować, wiadome już z depeszy mojéj do ks. Łabanowa, z d. 13 stycznia, któréj odpis został w. d. przesłany, zdanie gabinetu cesarskiego o niewczesności i niebezpieczeństwie odpłynienia wojska francuzkiego w obecnéj chwili.

Zajęcie zbrojne Syrji jest wynikłością umocowania, danego przez Europę Francji i przyjętego przez to mocarstwo w widokach naglącéj potrzeby ludzkości, sprawiedliwości i pokoju. Mogła konferencja w uczuciu umiarkowania, za kreślić mu czas; ale ta przezorność powinna była, naszém zdaniem, być poddaną urzeczywistnienie istotnego celu, w jakim była przedsięwzięta. Owoż, ten cel dalekim jest od osiągnienia. Nie tylko nie zdaje się nam, iż Syrja wróciła do stanu normalnego, tak że dłuższy pobyt wojsk francuzkich, byłby niepożyteczny a ich odwołanie pożądane, ale wierzymy, że zbawienne skutki, osiągnięte aż dotąd, głównie zawisły od obecności sił wojskowych francuzkich i że akta sprawiedliwości i poskromienia, do których przyczyniły się, mogłyby stać się podnietą nowéj zemsty i nowych zaburzeń, gdyby wojska opuściły kraj przed ukończeniem swego zadania. Pokój tych stron, godność Europy, cześć wojska Francji byłyby równie znieważone, gdyby względy porównawczo podrzędne przedwcześnie zbliżyły kres interwencji, któréj naszem zdaniem, lepiéj było nie przedsiębrać, niż zostawić ją niedokończoną.

Będziemy więc popierali przedłużenie zajęcia francuzkiego dopóty, dopóki uznawane będzie za potrzebne, albo dopóki nowa władza, za wspólną zgodą, nie zostanie zaprowadzoną w Syrji, w dostatecznych warunkach uzupełnienia rękojmi bezpieczeństwa, jakie mieszkańcy znajdowali dotąd w obecności wojennéj francuzkiéj chorągwi. Pokładamy zupełną ufność w widokach, jakie rząd francuzki zakreśla w spełnieniu tego posłannictwa ludzkości, od chwili, w któréj został niém obleczony i w któréj je przyjął, sądzimy, że sprawiedliwość wymaga, aby mu zostawić obmyślenie środków jego wykonania. W tym duchu, wzywam w. d. do współdziałania w porozumieniu się wielkich mocarstw między sobą i z Portą.

Jeśliby konferencja, uznając jak my uznajemy, przedłużenie zbrojnego zajęcia za niezbędne, znalazła pożyteczném powiększyć jego siły, bądź przez podniesienie liczby wojsk francuzkich, bądź przez dodanie wojsk jednego, lub kilku mocarstw, nie uczynisz p. hrabio, żadnego przeciw temu zarzutu.

Proszę przyjąć i t. d. *Gorczaków.*

Anglja.

Londyn, *21 d. lutego.* Dziennik *Times* umieścił w całości odpowiedź daną przez lorda John Russell lordowi Howard. Brzmi ona następnie:

Niesądziłem za potrzebne używać jakiegokolwiek wpływu na króla Wiktora-Emmanuela, aby wstrzymał rozlew krwi. Powiem, że w ogóle wojska Piemonckie okazały tyle ludzkości po zwycięztwie, ile męztwa wśród bojów; ale zdarzają się okoliczności rzeczywiście boleśne dla wojska, a wówczas działają z wielką surowością. Zdaje się *np.,* że wysłano rozkazy (nie mogę powiedzieć przez kogo), ale wysłano je z Gaety i Rzymu. W skutek tych rozkazów, zbójcy, zbrodniarze przez sąd skazani, ludzie najpodlejsi uzbrojeni zostali w niektórych częściach królestwa i popełnili tam niesłychane okropności. W pewném zdarzeniu ci zbójcy schwycili jednego młodzieńca, syna człowieka znanego ze swych liberalnych przekonań, wydarli mu oczy i upiekli go potém na własném ognisku. Okrucieństwa tego rodzaju często ponawiane, skłoniły syndyka, że tych zbrodniarzów kazał uwięzić i okuć w kajdany, ale rozkaz natychmiast nadesłany z Gaety, zalecił ich uwolnić. Ci nędznicy popełnili inne podobneż srogości i kiedy wojska króla Sardyńskiego nadciągnęły, uwięziono ich na nowo, stawiono przed sądem wojennym i rozstrzelano. Podobne zbrodnie niemogą być karane według zwyczajnego trybu sprawiedliwości, lub podług form przyjętych między wojskami prawidłowemi, będącemi z sobą w wojnie. Rzeczą jest prawdziwie boleśną, że chociaż wojsko Sardyńskie nigdzie przed sobą wojsk przeciwnych nie widzi, dawane są przecież zachęty najnikczemniejszym zgrajom z Rzymu, do szerzenia morderstw i łupiestwa po wsiach i do najokrutniejszego wytępiania ludzi, niezgadzających się z tymi zbójami względem osoby, mającéj być ich królem. Winien jestem oświadczyć, iż byłoby to krzywdzić króla Wiktora-Emmanuela, żeby mu radzić ludzkość względem jego przeciwników. Jestem przeświadczony, iż król pragnie, aby przez cały ciąg wojny, prowadzić ją z litością. Wierzę temu i utwierdza mię w téj wierze otrzymany list dzisiaj zrana, że te niegodziwości ustaną. Czytam bowiem w rzeczonym liście, że upadek Gaety jest prawdziwém szczęściem, wkrótce Włochy południowe będą równie spokojnemi, jak Turyn, Bolonja i Florencja. Bo zachęty, dawane złodziejom i mordercom, nakoniec ustać muszą."

Austrja.

Wiedeń, *14 lutego.* Uniwersał sejmowy węgierski, brzmi następnie:

„My Franciszek-Józef 1-szy" i t.d.

„Wezwani do rządu naszego cesarstwa na mocy sankcji Pragmatycznéj, w skutek abdykacji naszego stryja, cesarza Ferdynanda 1, piątego króla tego imienia w Węgrzech, Czechach, oraz w skutek zrzeczenia się praw następstwa przez naszego najukochańszego ojca, arcyksiążęcia Franciszka-Karola, oznajmiliśmy o naszém wstąpieniu na tron naszym ludom; według zaś postanowień naszych 20 października umyśliliśmy zwołać na d. 2 kwietnia 1861 w mieście naszém królewskiém Budzie, sejm walny i przewodniczyć na nim przy boskiéj pomocy, a to końcem przystąpienia do naszéj konstytucyjnéj inauguracji i naszego uroczystego ukoronowania, do złożenia stanom i przedstawicielom kraju naszego, inauguracyjnego dyplomatu, tudzież do spełnienia wyboru palatyna, na zasadzie art. 3 prawa 1608 *ante coronationem;* nakoniec w celu porozumienia się, według chęci naszego serca, ze stanami i przedstawicielami naszego królestwa Węgierskiego, oraz części z nim złączonych, co do rozmaitych rozporządzeń i praw wysoce ważnych dla pomyślności kraju i dobra powszechnego.

A przeto rozkazujemy wam nieodzownie i zalecamy łaskawie, wysłać na miejsce i czas naznaczony jednego lub kilku umocowanych, mających wybrać się, zgodnie z przepisami art. 3 prawa 1848, w osobach ludzi porządnych spokojnych i zdolnych, którzy powinni być obecnymi na sejmie dla wysłuchania razem z innymi prałatami, dostojnikami, stanami i przedstawicielami naszemi wspomnianego królestwa Węgierskiego i części połączonych, zamiarów i przełożeń uprzejmych, jedynie dążących do dobrego bytu, pomyślności i utrzymania kraju, i do uczęstnictwa w obradach tym końcem odbyć się mających". Wiedeń 14 lutego 1861 r.

podpisano: *„Franciszek-Józef".*

Kontrasygnowali: *„Baron Mikołaj Vay".*

„Edward Zcsedenji".

Prusy.

Berlin, *8 lutego.* Dziennik *Gazeta narodowa* daje następną wiadomość o rozprawach izby, w rzeczy wniesienia posłów Poznańskich na sejm Pruski:

Na dzisiejszém, dwunastém posiedzeniu izby poselskiéj, wznowiono wczorajsze rozprawy *o Polskiém pytaniu.* Poseł *Libelt,* mówił za wniesieniem w wiadomym polsko-narodowym duchu; poseł *Reichensperger* przeciw wniesieniu, później zaś poseł *Bentkowski* za niém. Na to odpowiedział minister spraw wewnętrznych, hrabia *Schverin:* „Rozumiem, że szanowni panowie nie megą żalić się na cierpliwość, z jaką izba słuchała dość długich objaśnień posłów, którzy wystąpili z wniesieniem i którzy nie tyle mówili o samém wniesieniu, ile o tém, co im na sercu leży. Ale mości panowie, komu znany jest obecny stan rzeczy w prowincji Poznańskiéj, ten mimo ważność pytania, nie może wstrzymać się od uśmiechu, patrząc na niewinną maskę, jaką przywdziać szanowni mówcy znaleźli dziś dogodném dla siebie (bardzo słusznie). Mości panowie, powiedziałem już wczoraj, że pogląd rządu w w téj sprawie, według mego zdania, dostatecznie określony został w pierwszem mojém objaśnieniu. Jeżeli wspominam o mowach wyrzeczonych na zgromadzeniach w Poznańskiém; jeżeli wspominam, że ci panowie i dziś jeszcze nie wiedzą gdzie ich ojczyzna, że nie wiedzą, że ich ojczyzną są Prusy. Daléj, jeżeli wspominam, że we wszystkiém, co tylko dzieje się w prowincji, panuje jedyna tylko myśl: widzieć co najprędsze zbliżenie téj chwili, w któréj byłoby możliwém odrodzenie samoistnego Polskiego państwa, nie podobna jest nie uśmiechnąć się. Wiemy, mości panowie, że to są tylko środki dla przygotowania téj chwili, któréj z niecierpliwością wyglądają; ale powtarzam, że znajdą rząd na swojém miejscu i raz jeszcze mogę ich ostrzedz: Nie wywołujcie przez waszą agitację widma, którém nie będziecie w stanie owładnąć; nie narażajcie istnienia niezliczonego mnóstwa ludzi, jakeście to już nieraz czynili, na własne i ojczyzny nieszczęście." (żywe oklaski).

Z dwóch stron izby domagano się zamknięcia rozpraw. Jeszcze znajduje się na liście pięciu polskich i tyluż niemieckich mówców. Zamknięcie rozpraw przyjęto znaczną większością głosów.

Hrabia *Cieszkowski* (do porządku dziennego): „Chcę tylko dowieść, że sprzeciwia się zwyczajom parlamentowym, kończyć rozprawy po głosie ministra, i że to pozbawia nas możności odpowiedzenia, jak obowiązek i sumienie uczynić nam to nakazują. Odpowiemy jednak przy pierwszéj lepszéj zręczności.

Prezydent *Simpson:* Według naszych zwyczajów parlamentowych, zakończone rozprawy poczytują się wznowionemi w takim tylko razie, jeżeli minister po wyczerpaniu rozpraw, wystąpi z nowém zapytaniem. W obecném zdarzeniu izba głosowała zamknienie rozpraw, po mowie ministra.

Hrabia *Cieszkowski:* „Powiedziałem tylko, że to sprzeciwia się się zwyczajom wszystkich parlamentów."

Prezydent *Simpson:* „O tém nie możem tu toczyć spraw." Po osobistéj uwadze posła *Niegolewskiego* i przeczytaniu sprawozdania, nastąpiło głosowanie; przyczem tylko Polacy powstali za swoim wnioskiem, a więc go odrzucono.

DEPESZE TELEGRAFICZNE.

PESZT, 20 lutego. Przedstawiciele municypalni Pesztańscy postanowili, że wszyscy cudzoziemcy zamieszkali w mieście od 1849 r., nawet tacy, którzy posiadają tam własność nieruchomą, będą wyłączeni z prawa wyborczego. Podobnież odrzucili wszystkie żądania o pobór zaległych podatków, tudzież nie przyjęli kwitów pisanych na papierze prostym.

KOPENHAGA, 20 lutego. P. Artur Reventlow mianowany został kommissarzem królewskim, przy stanach Holsztyńskich. Począwszy od 1 marca, otworzy się bióro zaciągu majtków.

BELGRAD, 20 lutego. Kurchyd-Pasza, nowy gubernator, dziś tu przybył. Dziennik Konstantynopolski nie ustaje w swych napaściach, dla zmuszenia rządu Serbskiego do odpowiedzi. Czasopismo urzędowe ogłasza dyplomatyczne dokumenta.

TURYN, 23 lutego. Dziennik Opinione ogłasza następną depeszę z Rieti pod d. 22:

Około tysiąca łotrów z działami, wyszłych pod przewodztwem hrabiego Christen, zostało attakowanych w Carsoli, przez ochotników włoskich i cofnęli się ciągle walcząc. Dowiedziawszy się o tém półkownik Masi i major Vicentini, wnet nadbiegli; dzielnie na nich natarli i ścigali aż do Oricola, zabijając im mnóstwo ludzi.

MARSYLJA, 22 lutego. Listy z d. 20 donoszą, że komitet narodowy ogłosił proklamację, zapowiadającą, iż Wiktor Emmanuel będzie wkrótce obwołany królem Włoskim na Kapitolu. Proklamacja dziękuje Francji za jéj bezstronne zachowanie się. Dnia 18 zwierzchność wojskowa francuzka zabrała klucze od dzwonnicy kapitolińskiéj dla przeszkodzenia wejścia na nią i uderzenia we dzwony. Mówiono, że rząd papieski skazał na wygnanie wiele osób podejrzanych o urządzenie objawów, a mianowicie pana Tinoni, bogatego kupca Kampanji rzymskiéj. Podług tychże listów, wrzenie wzrasta w Rzymie.

WIEDEŃ, 23 lutego. Gazeta austryjacka zaprzecza z dobrego źródła wieści o zawarciu konwencji między Austrją, Rossją i Prusami co do wspólności działania w razie powstania w Węgrzech i Galicji. Gazeta dodaje, że stan prowincji polskich dał powód wymiany not, lecz że co do Węgier, nic nie postanowiono. Cesarz udzielił kościołowi protestanckiemu w Siedmiogrodziu roczne uposażenie po 16,000 złr. ze skarbu państwa.

PESZT, 23 lutego. Municypalność uchwaliła adres do cesarza o powrócenie na wolność jenerała honwedu, pana Asbotha.

BERLIN, 24 lutego. Izba panów przyjęła, niemal jednomyślnością, projekt do prawa, zniżenia opłat od żeglugi po Renie.

BELGRAD, 22 lutego. Ks. Michał zwołał wczoraj konsulów mocarstw i wyłożył przed nimi postępowanie Serbji, a razem niebaczne postępowanie Turcji. Wszyscy konsulowie przyznali słuszność Serbji.

RZYM, 22 lutego. Dziennik rzymski, oświadcza, że rząd papieski odpycha odpowiedzialność, jaką broszura pana de la Gueronnière nań zwala. Dziennik dodaje, że broszura obejmuje zarzuty, pomieszczone już w innych pismach tego rodzaju. Allokucje papieskie, mówi, i depesze kardynała Antonellego dostatecznie dowiodły, na kim ciężyć powinna odpowiedzialność, za opłakane zdarzenia, które się rozwinęły.

LONDYN, sobota 23 lutego wieczorem. Nadeszły wiadomości z Batawji z d. 16 stycznia. Zawarty został traktat między Holendrami i królem Syamu. Ogromna burza przeszła przez wyspę Jawę i strasznie zniszczyła plantacje kawy.

NEAPOL, niedziela 24 lutego. Admirał Mundy otrzymał rozkaz udania się ze swą eskadrą do Malty. Odpłynie jutro. Deputacja wysłana z Gaety, przybyła tu dla pozdrowienia ks. Carignan.

RAGUZA, niedziela 24 lutego. Od dwóch tygodni rozruchy trwają w Suttorynie. Powstańcy pod dowództwem Wukałowicza blokują dom straży tureckiéj. Wczoraj Mehmed-pasza wyruszył we 400 ludzi ku Suttorynie, a Derwisz-pasza ku Zubcom. Powstańcy Suttoryńscy oczekują na posiłki z okolic. Blizkie starcie się zdaje się być pewnem.

LONDYN, wtorek 26 lutego. Zakład Reutera udziela następną depeszę z Rzymu z d. 24:

Król Neapolitański bawić będzie w Rzymie dopóty, dopóki Francuzi stamtąd nie wyjdą. W Rzymie przygotowuje się tajemnie, przyjęcie dla Wiktora Emmanuela. Francuzi zajmą część prowincji Frosinone. Piętnastu Rzymian wygnanych, opuściło miasto.

Jenerał Goyon rozkazem dziennym naganił objawy komitetu narodowego. W Neapolu miały miejsce rozruchy z powodu zniesienia klasztorów. Poskromiła je gwardja narodowa. Sześciuset powstanców Abruzzkich złożyło broń na ziemi papieskiéj.

LONDYN, wtorek 26 lutego. Na poniedziałkowém wczorajszém posiedzeniu izby gmin, zapytany lord John Russel odpowiedział, iż rzecz o przedłużeniu zajęcia Syrji nie została jeszcze rozstrzygnięta. Turcja nie protestuje przeciw zajęciu, ale nic ostatecznie jeszcze nie postanowiono.

WIEDEŃ, wtorek 26 lutego. Gazeta urzędowa oznajmuje dziś zrana, że cesarz potwierdził dokumenta, obejmujące konstytucję. Przedsięwzięto środki do prędkiego ich obwołania. Zapewniano wczoraj wieczorem, że nadaném zostało centralne przedstawicielstwo z obszernemi attrybucjami. Istnieć mają: izba panów i izba poselska. Nie ubliża to w niczem ustępstwom uczynionym dla Węgier. Sejm ma być zwołany na d. 6 kwietnia, przedstawicielstwa zaś cesarstwa na d. 2 tegoż miesiąca.

RAGUZA, poniedziałek 25 lutego. Liczba powstańców w Suttorynie jest tak wielką, że Mehmed-pasza nie śmiał na nich uderzyć i cofnął się. Dom straży tureckiéj zburzono.

TURYN, wtorek 26 lutego. Senat zagłosował 129 głosami przeciw 2 projekt do prawa, nadającego nazwę króla Włoskiego, Wiktorowi Emmanuelowi i jego następcom.

WIEDEŃ, środa 27 lutego. Gazeta urzędowa ogłasza dziś rano, statut konstytucji i praw zasadniczych.

Będzie przedstawicielstwo cesarstwa składające się: naprzód, z izby panów, w któréj zasiadać mają członkowie, których do tego powoła urodzenie. Są oni dożywotni.

2) Z izby poselskiéj, liczącéj 343 członków, między którymi 85 wysyłać będą Węgry. Zgoda obu izb i potwierdzenie cesarza, są niezbędne do ogłoszenia każdego prawa.

Poczytują się jako sprawy obchodzące całość cesarstwa: ustalenie budżetu, prawodawstwo podatkowe, pożyczki rządowe, sprawdzenie sprawozdań budżetowych, kontrola długu publicznego.

Przedstawicielstwo cesarstw aotrzymuje nazwę rady cesarstwa. Konstytucje nadane Węgrom i składowym ich częściom, utrzymają się w obrębach dyplomatu 20 października. Inne kraje są uposażone statutami prowincjonalnemi, opartemi na przedatawicielstwie potrzeb miejscowych. Statuty prowincjonalne już dawniéj ogłoszone, są zastąpionemi przez liberalne rozporządzenia. Dla wspólnych spraw rada cesarstwa jest ogniskiem prawodawczem; dla spraw prowincjonalnych są niém sejmy.

Co do Lombardo-Wenecji, poruczono ministrowi

stanu przedstawić cesarzowi konstytucję prowincjonalną, opartą na tychże zasadach. Upoważniono tymczasem kongregacje tych krajów do wysyłania na radę cesarstwa oznaczonéj liczby członków. Dawna rada cesarstwa jest rozwiązaną; utworzenie zaś rady stanu nakazane.

WIEDEŃ, środa 27 lutego. Gazeta Dunajska ogłasza depeszę z Mostaru z d. 25, donoszącą że powstańcy powiatu Jenibazarskiego na pograniczu Czarnogórskiém w liczbie 5,000 ludzi napadli przy pomocy Czarnogórza na Wihor i że zabili więcéj 50 mieszkańców muzułmańskich, między którymi wiele niewiast. Następnie złupili i popalili domy.

(Le Nord i J. de St. P.

PRZEGLĄD LITERACKI.

(ART. MICHAŁA BALIŃSKIEGO).

Monografje Historyczno-Genealogiczne niektórych rodzin Polskich przez Stanisława Kazimierza, Kossakowskiego z przypisami Juljana Bleszczyńskiego. Warszawa, nakładem autora, w drukarni Gazety Codziennéj, w ósemce. Tom I r. 1859 z trzema tablicami genealogicznemi, Tom II r. 1860 z dwiema tablicami genealogicznemi.

Nikt nie zaprzeczy temu, kto zna historją a zwłaszcza kto nad nią pracował, jak wielką pomocą dla niéj są dzieła heraldyczne, oparte na zasadzie prawdy i nauki, nie zaś próżności i pochlebstwa, a zatém fałszu i bałamuctwa. Heraldyka wszędzie, jak wiadomo każdemu, należy do niemniéj ważnych jak inne, pomocniczych nauk dla historji. Lecz u nas gdzie liczny stan szlachecki, ciągle zasilany nowemi rodami przez nobilitacje i indygenaty, był jedyną żywotną częścią narodu, w którym cała jego działalność ześrodkowała się: może ta gałąź umiejętności dziejowéj jest daleko potrzebniejszą do zbadania coraz głębszego, to jest oczyszczenia od bajek i mnóstwa niedorzeczności, któremi mocno zarażoną została. Jakże bowiem nie starać się o dokładne poznanie dziejów, jeżeli nie każdéj zosobna znaczniejszéj rodziny szlacheckiéj, to przynajmniéj następstwa rodowego i główniejszych wypadków, w życiu tych plemion, których członkowie wpływali mniéj więcéj na losy kraju i narodu, jakże nierozjaśnic tożsamości osób, które były potężnemi nieraz działaczami na scenie świata politycznego? A przecie w naszych czasach mało kto się poświęcał takiéj pracy, zwłaszcza kiedy tak pilnie i z takiém zamiłowaniem zaczęto zbierać i obrabiać wszelkiego rodzaju materjały do przyszłéj budowy dziejów narodowych. Należy zatém przyznać niemałą zasługę panu Stanisławowi Kazimierzowi Kossakowskiemu jako autorowi, i panu Juljanowi Bleszczyńskiemu jako komentatorowi, że są niemal pierwsi, co po tak długiém zaniedbaniu u nas heraldyki, zajęli się jéj wskrzeszeniem. Tak w téj, jak i w innych gałęziach historji, niepodobna jeszcze myśleć o utworzeniu jednolitego dzieła, o zupełnym Herbarzu polskim, zarówno jak nie czas jest pisać dokładną historję narodu naszego. Znając to autor, zamierzył tylko skreślić rodowody tych imion, do których był w możności zebrać mniéj więcéj dostateczne fakta i materjały. I dobrze, że tą drogą poszedł, nie mając większych pretensij. Teraz tylko krytyka powinna przybyć mu w pomoc, a pan Kossakowski wsparty przez nią, stanie się wielce pożytecznym wydając podobne monografje, dla przyszłych pracowników na polu dziejowém, mianowicie zaś dla tych, którzy się wyłącznie zajmą odnowieniem naszéj heraldyki, jeżeli nie zupełném jéj przetworzeniem. Mamy już wprawdzie dość liczne prace tego rodzaju, a na czele ich *Herby Rycerstwa polskiego*, r. 1584 przez Bartosza Paprockiego ogłoszone; prawdziwy skarbiec dziejów familij szlacheckich, zebrany z akt ziemskich i grodzkich, z metryk, oprócz innych źródeł znajomszych, zawierający prócz tego dużo podań i legend ważnych i ciekawych. Dzieło rzadkie i szacowne, upowszechnione teraz nowém jego wydaniem w Bibljotece polskiéj Turowskiego, który swoim szczęśliwym pomysłem odrodzenia w tym sposobie dawnéj i mało znanéj literatury naszéj, zasłużył na wdzięczność wszystkich jéj miłośników. Po nim wielki przestwór czasu niczém nie został zapełniony co do heraldyki. W kilkadziesiąt lat bowiem zjawiło się dopiero obszerne dzieło Okolskiego *Orbis Polonus;* ale skażone rozmaitemi błędami, mało się przyczyniło do postępu wiadomości heraldycznych w Polsce, i chyba tylko dla obcych może mieć większą wartość, że po łacinie pisane. Herbarz Litewski Kojałowicza, z wielką szkodą dla dziejów, pozostał dotąd w rękopiśmie. Pomijając Wacława Potockiego, który jakąś sobie rozrywkę zrobił, opisując wierszem poczet herbów szlacheckich, znajdujemy w połowie ośmnastego już wieku znamienitą pracę Niesieckiego, która od czasu Paprockiego stanowi epokę w naszéj heraldyce. Dzieło jego pod tytułem *Korona Polska*, zawiera, oprócz tych wszystkich wiadomości, jakie się znajdują u poprzedników jego, mnóstwo szczegółów i tradycij familijnych, oraz nowe wywody rodu i związków szlacheckich. Chociaż i Niesiecki nie jest wolen od pomyłek, chociaż przesolił w zbyt częstém opowiadaniu nie zawsze udowodnionych nadzwyczajnych zdarzeń, i mało nieraz zasługujących na pamięć fundacij: jednakże zasób nowych i ciekawych wiadomości, jakie potrafił zebrać z kronik i rękopismów, przeważa błędy jego. I dotąd jeden Niesiecki utrzymuje się jako niezachwiana powaga u nas co do Heraldyki, niemając lepszego następcy. Wielu wprawdzie po nim występowało w tym zawodzie, lecz albo tylko cząstkowie uprawiali tę niwę, albo nic nowego i nic lepszego nie zrobili. Ponieważ z wyjątkiem Jabłonowskiego, który był pracowitym i dokładnym genealogistą, a znającym się uczenie na heraldyce, wszyscy inni, jak Duńczewski, autor Herbarza niemającego wielkiéj zalety, Chmielowski, Warszycki, Kuropatnicki, Małachowski, i ostatni Wielądko, powtarzali tyko lub skracali Niesieckiego, a niejedni z nich pomnażali rodowody imion błahemi i bez żadnéj krytyki dodatkami. Za naszych czasów nakoniec najgłębszy i wszechstronny badacz dziejów polskich Joachim L..., w swoim uczonym traktacie umieszczonym w szeregu dzieł jego, pod tytułem Herby w Polsce, nie trudnił się wprawdzie pisaniem Herbarza, ale pierwszy u nas wyjaśnił prawidła heraldyki i początki herbów. Julian Bartoszewicz niedawno w dopełnieniach swych do pośmiertnego dzieła Tomasza Święckiego: *Pamiętniki historyczne,* wiele światła nowego rzucił na dzieje szlacheckich rodzin, i wiele błędnych podań sprostował.

W takim tedy stanie téj nauki oddawna już odłogiem u nas leżącéj, pożądane jest zjawisko dzieła w tym rodzaju wypracowanego. Rzucimy kilka uwag nad nim, z których może autor zrobi jakiś użytek, a czytelnicy powezmą stąd ogólne przynajmniéj wyobrażenie o jego pracy. W tomie pierwszym mieszczą się rodowody pięćdziesięciu dwóch rodzin, licząc w to i cudzoziemską familję, hrabiów de Laval. To co autor, pisząc o pochodzeniu Białozorów z jednego szczepu z Sakowiczami mówi (str. 2), o trudności poszukiwania początku nazwisk szlacheckich w Litwie, od nazwy majętności, jak to się działo w Wielkiéj i Małéj Polsce: jest istotną prawdą. W Polsce chociaż przed XV wiekiem nieraz członkowie jednéj rodziny i jednego herbu, dzieląc się pomiędzy sobą dobrami po rodzicach, przybierali różne od tych dóbr nazwiska, jak mamy na to przykład na Tarnowskich, Potockich i tylu innych z jednego szczepu pochodzących: rzadko jednakże zdarzało się, żeby zmieniali nazwiska swoje raz przyjęte, na przezwiska od jakiegoś przymiotu lub wady. W Litwie przeciwnie, nie przybierano nazwisk prawie nigdy od wsi, od dziedzictwa. Litwini prawdziwi przynieśli je ze swego języka, za czasów pogańskich; były one razem imionami ich i nazwiskami póki czcili Perkuna. Rusini zaś Litewscy, chociaż dawniejsi chrześcijanie, mieli zrazu same tylko imiona chrzestne z przydatkiem ojcowskiego zakończonego na *icz*, co razem oznaczało bojara czyli szlachcica, zarówno jak w koronie przyrostek *ski*. Niekiedy dodawano prócz tego przezwisko przypadkowe. I z taką nazwą stawiła się szlachta Litewska przy unji Horodelskiéj i dalszych jéj ponowieniach; poczém nazwiska jéj zaczęły się ustalać. Litwini rzymskiego wyznania zamienili imiona swe przedchrześcijańskie na nazwiska rodu, a Litwini wschodniego obrządku imiona swych ojców przekształcili na nie. Wszakże i w genealogji Litewskiéj szlachty napotykają się czasem takie zawiłości i gmatwaniny co do nazwisk, że je trudno bardzo rozwikłać. Dowód tego mamy na splątaniu się nazwisk Radziwiłłów i Ościków, tak dalece, że nieraz znajdujemy wymienione w dokumentach i aktach publicznych, z czasów Jagielońskich *Radziwiłł Ościkowicz i Ościk Radziwiłłowicz!*

Dziwi nas to, że autor ani jego komentator mówiąc (str. 11). o Krzysztofie Białozorze kanoniku wileńskim, śmiertelnym nieprzyjacielu Sapiehów, nie zajrzał do aktów konfederacji Olkienickiéj, w któréj tak wielką rolę grał ów Krzysztof, stając się przyczyną tragicznego zgonu młodego Sapiehy syna hetmańskiego. Boć jeżeli nieco wyżéj wyliczone są bogobojność i zalety przodków jego, niesprawiedliwie jest opuszczać i plamy znaczniejsze, które żywot szlachecki skaziły, zwłaszcza w zawodzie publicznym; tém bardziéj, że sam wypadek, w którym Krzysztof Białozor tak czynnie działał, jest bardzo głośny i nie mogący się ukryć. Przy téj zręczności należało też wspomnieć i o bracie Krzysztofa, adjutancie hetmana Sapiehy, którego rozstrzelanie z rozkazu hetmańskiego chociaż pokryte wyrokiem sądu wojskowego, dodało jeszcze więcéj żaru do ognia nienawiści, którym pałała wówczas szlachta Litewska, a między nią Białozorowie, przeciw Sapiehom. Na str. 14, zachodzi omyłka historyczna w wyrażeniu się, że sam król i cały naród przystąpił do konfederacji Targowickiéj; bo cały naród bolał nad tém, że jego król z pewném tylko stronnictwem wszedł do tego związku. Po Białozorach następują Borchowie, opisani dokładnie co do teraźniejszego pokolenia, równie jak poprzedzający, na zasadzie dokładnych objaśnień Bartoszewicza. Należało tylko przywiedzione podania o téj rodzinie z Wielądka, wcale niekrytyczne, ułożyć w jeden ciąg, i jakby dzieje, jeśli nie bajeczne, to przynajmniéj niepewne, za wstęp do rodowodu Borchów położyć. Takby to szykowniéj wyglądało. Jedną tu jeszcze uwagę musimy zrobić. Autor na str. 15, przytacza podług Wielądka, że Borchowie jeszcze w Westfalji siedząc, posiadali w XII wieku, prócz baromji Lipp, dobra *Borkule* i *Boreklany*. To nie jest podobném do prawdy, bo te dwa nazwania wcale nie są niemieckie, i tylko w Litwie lub w Inflantach polskich mogą się znaleźć, ale nie w Westfalji. Należało choć w przypisku coś o tém nadmienić. Dodać także wypada na stronicy 20, że Marcin Karnicki nietylko był marszałkiem powiatu Lucyńskiego, ale na końcu swego zawodu obywatelskiego, marszałkiem gubernjalnym Witebskim, a przytém dobrym i czynnym marszałkiem!—Z wielką przyjemnością czytelnik spotka się w dziele pana Kossakowskiego z rodowodem Brzostowskich, nie dla tego żeby to imię jakkolwiek dość znakomite, nadzwyczajne jakie zasługi położyło w Rzeczypospolitéj: ale że z łona téj rodziny wyszli dwaj ludzie, nie błyszczący zapewne wysokich dostojeństw piastowaniem, ani też publiczném życiem, ale ludzie serca i wielkiéj miłości bliźniego. Mówimy tu o księdzu Pawle Ksawerym Brzostowskim, referendarzu Litewskim, prałacie katedry Wileńskiéj i o krewnym jego Karolu, niedawno zmarłym obywatelu gubernji Augustowskiéj. Pierwszy po nabyciu pięknéj majętności w powiecie Wileńskim, zajął się rzadkim wówczas i dotąd przykładem, poprawieniem losu swoich włościan. Zaczął najprzód od nadania im wolności osobistéj, poczém założył szkołę, urządził zarząd gminnowładny, jakby jaką maleńką Rzeczpospolitę, który zgromadzając się co tydzień w umyślnie zbudowanym ratuszu, stanowił o obowiązkach i potrzebach gminy, rozsądzał spory, godził poróżnienia lub naznaczał kary. Tak urządzona włość Merecza, nazwanego już Pawłowem od imienia dziedzica, miała swoją kassę, a nawet i stosowną siłę zbrojną. Wał ziemny otaczał wieś główną i dwór cały, była i broń potrzebna i możdżerze. Te ostatnie urządzenia stosowały się do ducha czasu, ponieważ to się działo ku końcowi sejmu czteroletniego. Wielu wprawdzie nazywało to i wówczas fantazją pańską, a jednakże włość przyszła Pawłowska tym sposobem do pewnéj oświaty i godności, do dobrych obyczajów, wielkiéj bogobojności, i do bytu wcale zamożnego. Z odmianą okoliczności zniknęły ustanowienia, ale na długo jeszcze pozostała odznaczająca się od innych cywilizacja między ludem Pawłowskim. Drugi, Brzostowski Karol, w całém znaczeniu tego wyrazu filantrop, jeszcze trwaléj zabezpieczył los swojego ludu w dobrach Sztabinie, gdzie przy założonych fabrykach żelaznych, uczyniwszy rolników właścicielami, połączył umiejętnie warunki ich bytu z oświatą i pracą. Chwalebna i dobrze pomyślana instytucja jego, tak jest niedawną i znaną wszystkim, którzy choć same tylko gazety czytają, że niepotrzebujemy szczegółów jéj przywodzić na pamięć. Że zaś Brzostowscy obchodzą nas bliżéj, bo są z téj linji naszemi spółobywatelami, gdyż Michaliszki gniazdo ich dawne leżą w powiecie Wileńskim, wspomniemy jeszcze, że i ojciec Karola, Michał Brzostowski starosta Miński, zasłużył się dobrze swoim ziomkom, ponieważ będąc pierwszym marszałkiem gubernji Wileńskiéj po rozbiorze kraju, umiał sprawować ten urząd z pewną godnością i odwagą cywilną, czego przykład nie wszyscy jego następcy umieli dać prowincji! Zresztą o Biskupie Konstantym Brzostowskim niema co mówić, bo jeśli był światłym i hojnym na fundacje, jest winniejszym, że kłótniami swemi z domem Sapiehów, zawichrzył kraj, już i tak nieładem i burzliwością możnych skołatany. Ze wszystkich owych dóbr na Litwie téj możnéj niegdyś rodziny, dziś jeszcze Mosarz chociaż znacznie uszczuplony, zostaje w posiadaniu jéj potomków, z pięknym pałacem, trudnym dziś do utrzymania. Michaliszki po exdywizji, przeszły w obce ręce.

Zaczynając genealogją Butlerów utrzymuje autor, że protoplaści tak licznych u nas rodzin cudzoziemskiego pochodzenia, przybywali do Polski „nie za chlebem i groszem goniąc, jak dzisiejsi przybysze, lecz za żądzą sławy i swobody“ (str. 46). Zdanie to nie zupełnie zgadza się z historją. Byli wprawdzi i tacy, którzy z powodów politycznych lub religijnych osiadając w Polsce, nie sięgali do niéj po fortunę, ale ich liczba bardzo mała w porównaniu do tych, którzy się garnęli do nas, szukając lepszego bytu. Zresztą historja napływu cudzoziemców do Rzeczypospolitéj od najdawniejszych czasów, aż do jéj upadku, jako fakt nader ważny, mogłaby być przedmiotem bardzo ciekawéj rozprawy, gdyby się jéj chciał kto podjąć, mając do tego potrzebne materjały. Jeżeli przypuścimy, że ów sławny rycerz Piotr Danin, przybył kiedyś do Polski już ze znaczeniem i majątkiem, opuszczając ojczyznę swą z powodów politycznych, lub innych jakich osobistych: to inni po nim, o ile wiemy z dziejów, z bardzo małym wyjątkiem, nie tym sposobem sadowili się w naszym kraju, przychodząc z czasem do bogactw, szlachectwa i dostojności. Mieszczanie stolicy państwa, Krakowa, w znacznéj części przybysze z Niemiec, trudniący się handlem i przemysłem, a stąd nabywszy wielkich dostatków i znaczenia nawet politycznego za Piastów, dali początek kilku imionom szlacheckim historycznym. Potém za królową Boną, tyle wpływającą na rządy kraju, przybyło nieco Włochów, którzy pozostali nazawsze w Polsce, i w szlachtę zamienili się. Daléj przy Batorym trochę Węgrów mogło wejść; epoka zaś reformy religijnéj naprowadziła równie do Korony jak do Litwy mnóstwo cudzoziemców, z których znaczna część także u nas została, nabywszy jeśli nie osobiście, to w potomkach klejnotu szlachectwa. Ale dopiero za następnych królów wybieralnych, podczas nieustannych wojen, liczba obcych przybyłców do Polski, nadzwyczajnie się pomnożyła. Sprowadzano szczególniéj z Niemiec, uzdolnionych inżynjerów i artylerzystów, a z piechoty nawet cudzoziemskiego zaciągu, nabywszy prawa do zasług, niejedni pozostawali w kraju. I takim wszystkim w nagrodę nadawano nobilitacje lub indygenaty. Bo chociaż mieliśmy swoich, nawet sławnych w Europie naczelników obu tamtych broni, jak Arciszewskiego, który zasłynął aż na brzegach Ameryki, i uczonego Siemienowicza, którego dzieło o artylerji przetłumaczono na wszystkie języki Europejskie: ale trudniéj było o podrzędnych oficerów. Otoż wiele ich napłynęło do nas szukając losu, mianowicie za Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza i Sobieskiego. W Litwie oprócz tego potężny dom Radziwiłłów sprowadzał sobie cudzoziemców do komendy swego wojska, albo nawet i do zarządu dóbr w ordynacjach, i zasłużonych chudopachołków hojnie wynagradzał zastawami, a czasem i dziedzictwem wiosek. Za Sasów tylko kilka imion niemieckich weszło w rzęd szlachty polskiéj, jak Brühl, Fleming i t. d. nie z powodu chleba, bo i w ojczyznie nie zbywało im na tém, ale dla ujęcia władzy i urzędów. Za to pomnażających ten stan, biednych ludzi, pracą i zasługą, mnóstwo przybyło. Całe zaś inna klassa obcych imion od wschodu, znalazła się raptem między szlachtą polską, za panowania Zygmunta III. Inflanty wojowane przez lat tyle, i nakoniec przyłączone do Polski, dostarczyły szlachectwu Rzeczypospolitéj nowego żywiołu, i nie już dorabiających się téj godności wędrowców, ale możnych i rycerskiemi herbami oddawna zaszczyconych członków tego stanu. Takimi byli po większej części właściciele ziemscy w Inflantach, niemieckiego rodu krzyżacy mieczowi, jak Borch, Zyberg, Plater, Hilzen, Tyzenhauz, Denhof, Felkerzamb, i wielu innych, którzy pospolicie jako dzielni wojacy zasługami ciężkiemi, albo niektórzy z nich już poprzedzającém połączenie znaczeniem, doszli w Rzeczypospolitéj największych godności i wpływu, mianowicie u dworu i w wojsku. Do tych nabytków szlachectwa polskiego policzyć jeszcze wypada szlachtę Pruską, która poprzyłączeniu się dobrowolném prowincji téj do składu Rzeczypospolitéj, imiona swe nawet rodowe niemieckie zamieniła na polskie, jak *np.* Czemowie, Bażeńscy i t. d. Ale wracając do Butlera, którego nazwisko dało powód do tego ustępu, nic jaśniejszego jak początek téj familji w naszym kraju. Próżno badać go, błąkając się po Irlandji, jak Niesiecki, i jego następcy, albo nawet szukać go w Hessji, pomiędzy jakiemiś jéj hrabiami. Bo najprzód, gdyby przodek tego imienia, co pierwszy znalazł się w Polsce, był Irlandczykiem, nie mógłby być przez żaden sposób Lutrem, jak Wilhelm Gotard Butler, który pierwszy porzucił wyznanie ewangelickie, lecz niezawodnie katolikiem. Jak również gdyby był potomkiem grafów niemieckich, nie miałby potrzeby za orędownictwem swojego pana, króla Jana Kazimierza, starać się o przywiléj na hrabstwo u cesarza. Ale widać oczywiście, że pierwszy Butler Jan przodek Gotarda przybył może z Hessji, jeśli nie z Kurlandji prosto, jako szukający losu *(officier de fortune)*, i zaciągnąwszy się do hufców cudzoziemskich na żołdzie polskim, podczas wojen Batorego, położył pewne zasługi w Polsce i obrał ją za swoją ojczyznę. Dopiero wnuk jego Gotard Wilhelm, dworzanin Jana Kazimierza, kiedy był jeszcze królewiczem, człowiek zdolny i zręczny, dawszy dowody stałéj wierności w służbie owego peregrynanta, jak go nieraz nazywano, i poświęcenia się podczas jego niewoli we Francji: dostąpił zaszczytów i fortuny, pierwszy podnosząc rodzinę swą na stopień znaczącéj w kraju szlachty, a imię zapisując do imion historycznych. Wierność i zasługi tego Butlera obszernie są opisane w dziele Wassemberga *„Carcer Gallucis“*, które w przekładzie polskim, z potrzebnemi dodatkami tłumacza wyszło roku 1858 w Petersburgu u Wolffa. *(d. n.)*

PRZEGLĄD WSZECHSTRONNY.

LITERATURA ZACHODNICH SŁOWIAN.

Przeglądając *Czasopismo Muzeum Czeskiego*, za rok ubiegły, znalazłem w niém ładny poemat *„Smierć Izmaela Czengis-agi* *), napisany w języku Czarnogórców *przez Iwana Mazurańca*, a przełożony na język czeski, przez znanego Józefa *Kolara*. Postanowiliśmy podać go w treści czytelnikom Kurjera, tłumacząc wierszem piękniejsze miejsca. Poemat ten ma pięć ustępów.

Pierwszy p. t. *Agovani* (władzca), tak się rozpoczyna: „Izmael-aga przywołał swe sługi, w mieście Stolce wśród Hercogowiny, pomiędzy Mostarem a Trzebiną“ „Słudzy moi, przywiedźcie mi owych górali (Brdjany), których pojmałem w boju przy rzece Moraczy, mającéj chłodną wodę. Przywiedźcie mi starca Duraka, który mi radził puścić ich swobodnie. Muszę się za moją głowę pomścić, na głowach tych chrześcijan (Vlaszi), bo się wilk waleczny górnych myszy nielęka.“

Przyprowadzono okutych jeńców. Aga skinął i każdemu z nich przeznaczył inny rodzaj śmierci. Jednego sądził na pal, drugiego na powieszenie, innego pod topor kata, odgrażając się: „Jak wam, tak będzie całemu Czarnogorzu.“

Ale umierać za Chrystusa wiarę
Nie straszno dla tych, co się za nią biją;
Skrzypnęły pale dręczące ofiarę,
Katowskie miecze gwizdały nad szyją,
Lecz ani westchnie Czarnogórzec młody,
Niezgrzytnie zębem, jęku nieuroni,
W rowach, krwi czarnéj pełno gdyby wody,
Pluchocą ciała wyrzucone do niéj.
A jeden Boga najwyższego chwali,
A z ust drugiego imie Jezus leci,
I tak się lekko ze słońcem żegnali,
Jak przyzwoita na góralskie dzieci.

Krew płynie rzeką przez pole, Turcy patrzą skrzyżowawszy ręce, jak giną psy chrześcijańskie i sami mrą od strachu; Aga pogląda ponuro, bo pomęczył, ale serca górali niezachwiał. *„Straszny jest, kto przywykł umierać bez strachu.“* Turek sam przed sobą tai obawę. „A ty Duraku, stary starcze! co poczniesz z sobą? czy pójdziesz na górę? tam są górale, czy na równinę? oni i tam zejdą. Raczéj unoś się w obłoki, mysz tylko nurtuje ziemię, a orzeł pod niebo się wznosi: powiesić go pomiędzy niebem a ziemią, na pastwę krukom!“ Oprawcy w milczeniu pełnią swoją powinność. *Aman!* (przebaczenia) woła napróżno starzec i syn jego *Nowica* **); Aga stoi jak słup górny, jak twardy kamień. Westchnął starzec Durak, skinął ręką, *medet! medet!* woła obyczajem umierającego Turka, ale sznur dusi mu gardło... starzec zamilknął.

W drugim ustępie, który nosi tytuł *Nocny wędrowiec* (Noczni poutnik), przekrada się Nowica syn zamordowanego, znany jako drab z orszaku Agi a krwawy wróg Czarnogórców; ubior jego turecki. Ostróżnie wymija znakomitsze sadziby plemion Czarno-górskich, bo wie, że w dzień tędyby nie przeszedł bezkarnie. O trzecich kurach staje w Cetynie, stolicy Czarnogórra. Straż go pyta: „Bądź pozdrowiony nieznajomy junaku! z któréj dążysz strony? jaka cię sprawa tutaj przyprowadza, że przychodzisz przed wschodem słońca?„

Przebiegły Turek tak się im tłumaczy:

»Oto mojego przybycia przyczyna,
Jestem junakiem od chłodnéj Moraczy,
Rodem z małego miasteczka Tisina.
Troiste noszę w mojém sercu rany,
Jedną mi zadał Czengis-aga zbójca,
Że zgubił śmiercią chrobre Moraczany,—
A druga rana, że mi zabił ojca,—
A trzecia rana w mojém sercu sroga,
Że dotąd żyje ta dzika poczwara;
Proszę was, błagam na wielkiego Boga
Dajcie waszego ujrzeć Hospodara! ***)
Wasz i mój władźca—zdam się jego pieczy
On mi trzy rany serdeczne wyleczy.«

Straż mu odpowie.

„Nieznany młodzianie
»Złóż uzbrojenie co ciebie okrywa,
„Niech się zadosyć twojéj woli stanie,
„Wejdź goić ranę co ci pierś rozrywa.«

Turek ufając w swoich dobrych losach,
W bramę zamkową szedł pełen odwagi,
Ostatnia gwiazda zgasła na niebiosach,
To była gwiazda Izmaela-agi.

Hufiec Czarnogórców (*Czeta*) występuje w trzecim ustępie, noszącym tenże tytuł. W Cetynie zaledwie zbierze się sto junaków, ale wszystko chrobrych. Poznać ich, nie tyle po rycerskiéj odzieży, co po męzkiéj twarzy, co po sercu rycerskiém. Każdy z nich, uderzyć chciałby na dziesięciu, a w potrzebie rad polegnąć w boju, za krzyż święty i za złotą swobodę. Nie chodzili w srebrze, nie mieli jak inni hasła; *„Kto junak, na przesmyki!“* ale słuchali innego wyższego hasła.

Bo się głos duchów przed niemi wynurza,
Zda się że duchom śpieszyli z posługą,
Szept tajemniczy wpośrod Czarno-górza,
Z jednéj się skały przenosił na drugą.
Wtedy się zdają niesłychane dziwa,
Życie wstępuje na góry surowe.
I zimny kamień zdaje się odżywa,
I drga i rusza i podnosi głowę.
Z szeroką piersią z za skały pochyłéj,
Wychodzi na jaw, stawiąc pewne kroki,
Jak gdyby cudem w jego zimne żyły
Krwi rozognionéj wtrysnęły potoki.

Długa rusznica junaka zawieszona przez plecy, zdaje się sięgać niebios, a co się kryje w pasie, tego twe oko niedójrzy. Mgła swym turbanem wszystko obwija, każdy śpieszy gdzie głoś go woła. Mężny rycerz idzie przed hufcem, a jeden drugiemu szepcąc powiada:— że to Mirko. Wielkie być muszą grzechy tego, na kogo Bóg zeszle ten hufiec, bo to jest jakby sąd, Jego wiekuistéj prawdy.

Wśród cichéj nocy, cicho, głucho postępują hufce. Ani szeptu, ani słowa, ani spiewu, ani śmiechu, ze sta ust ani jednego głosu nieposłyszysz. Jak czarna chmura gradowa co ciężkie bicze kryje w swem łonie, grozi zagubą krainie nad którą się zatrzyma, tak i ów hufiec, po złym czynie gradem uderza, a uderza tém silniéj im się bardziéj opóźni. Ustępuje przed nim twarda skała, zniża się góra stroma. Idą nierozłączenie, równym, szykiem, jak gwiazdy niebieskie.

Kómanie, Zaharacz i Białopawlice, dawno już zastały za niemi, dochodzą do stromych Rowców a minąwszy Rówce, stają przed świtem w Moraczu, gdzie od chłodnéj wody, kraina bierze swoje nazwanie.

Homerycznie opisany jest, wypoczynek hufca górali nad Moraczą.

Chłodna jest woda na rzecze Moraczy,
Gdzie stanął Mirko ze drużyną całą;
Jeden padł w trawę, na rosę niebaczy,
By snem pokrzepić zmordowane ciało;
Drugi w rusznicę co nosi przez ramię
Sypie proch silny i kulę złowrogą,
Albo, na brusa kamiennym odłamie
Ostrzy swe noże gdzie szczerby być mogą,
Inny dobywa hubkę i krzesiwo
Wybija iskrę, i gdzie kępa sucha
Zbiera łom leśny, stos układa żywo,
A słup płomienia pod niebo wybucha;
Inny zabitéj ćwierć owieczki bierze,
Leszczynowego uciosawszy rożna,
Kręci nad ogniem przysmak na wieczerzę,
Nad który lepszych kosztować niemożna.
A ów z żołnierskiéj torby wydobywa
Białego sera wylepiankę dużą,
Kto ma pragnienie,— tuż Moracz przepływa,
Nietrzeba czaszy—bo dwie dłonie służą.

Ale już dzionek poczyna rozświtać, słuchać pasterzów pędzących stada owiec, brząka w dzwonek baran ich przewodźca.

Oto inny pasterz nadchodzi do swéj braci, do swojéj trzody. Nie zdobi go złoto ni srebro, niepoprzedza orszak z pochodniami, ani ogłasza go zwieży rozgwar dzwonów. Świątynią jego, jest sklepienie nieba, ołtarzem dolina i wzgórze, kadzidłem co się wznosi do niebios, jest luby aromat kwiatów, aromat wylanéj krwi w obronie krzyża. A gdy dostojny sługa Najwyższego Pana, zbliżył się do hufca a pozdrowiwszy go słowem Bożem, wstąpił na wysoki kamień, choć kamień zimny, ale było wrzące serce serce męża, co wyrzekł w te słowa:

„Dzieci wy moje! bojowników roto!
Ta ziemia u was rodzinną się zowie,
Wprawdzie skalista, lecz dla was jest złotą,
Bo tu się wasi rodzili przodkowie...
Oni téj ziemi bronili wytrwale,
I wy bronicie od szpon najezdnika;
Orzeł swe gniazdo buduje na skale,
I do rodzinnéj swéj skały przywyka.
Wyście przywykli... to wasza rodzina
To wasze wszystko— nic was nieobchodzi
Że wasze skały nie wydają wina,
Że z waszéj skały żyto się nierodzi,
Tych skał widokiem wasza dusza rada,
Za nie najdroższe poświęcacie życie,
Póki się pasą po równinach stada
A zimna rzeka szumi w swém korycie.«
. . . . . .

*) Izmael-Aga Czengis, pochodził z rodziny Serbskiéj; już w roku 1819, piastował urząd w Gacku, niedaleko Czarnogórza. W zatargach o reformy, wespół z Ali-baszą synem Ryzwana-agi, był na stronie Sułtana. W r. 1833 Ali mianowany został wezyrem Hercogowiny, a Izmael Kapidzi-baszą; w r. 1836 walczył z Czarnogórcami. Miał synowca, Rustanbeja. Prosili Czarnogórcy Izmael-agę, aby go, dla jego okrucieństw, nieposyłał na wybieranie haraczu. Rozgniewało to Izmaela, poszedł sam na czele doborowego wojska i zginął w bitwie 28 sierpnia 1840. Szczegóły historyczne do tłómaczenia Kolara, podał Jan Vaclik.

**) Nowica Cerowicz, żyje dotąd i jest członkiem Czarnogórskiego senatu. Mądrze rządzi ludem na Moraczy. Często bywa wspominany w pieśniach i dziejach Serbskich. Ma lat około 50. (Z objaśnień Vaclika).

***) Hospodar, tak do roku 1804, w Serbji nazywali Turcy, swoich bejów, i spachów jako i dotąd nazywają w Bośnji i Hercegowinie; ale na Czarno-górzu tak nazywano panującego Władykę. Tytułu tego przestał używać, książę Miłosz Obrenowicz.

Wasz pobratymiec niebędzie zgubiony,
Wy nie zechcecie by cierpiał boleśnie,
Tutejszych mężów i córki i żony,
Na waszą chwałę będą składać pieśnie.
Chcesz dobréj broni? Turek ją posiada—
Jest wszystko czemu wasza dusza rada"
„Lecz nadewszystko co zdobi tę skałę
Jest to krzyż święty, wbity na jéj szczycie,
On waszym piersiom dał serce wytrwałe,
Przezeń łaskawe niebiosa ujrzycie,
On kiedy widzi narodowe święto
O którém jeszcze niewiedzą w dolinie,
Ten krzyż cudowny, siłą niepojętą
Wznosi się w niebo ze skał na Łowczynie. *)
O! wy niewiecie, przez jakie staranie
Chce połknąć góry Turecka paszczęka,
Złożywszy ręce niepatrzał by na nie,
Lecz się o skały skruszyć zębów lęka.
Gdyby nie krzyża świętego potęga,
Już by się dawno na te skały wdarli,
Gdy barbarzyniec we śnie się wylęga
Wybyście wszyscy złą śmiercią pomarli...
Oto się chwila stanowcza przybliża,
Macie uderzyć na wasze morderce,
Ale kto walczy w imię tego krzyża,
Musi koniecznie niewinne mieć serce."
„Kto swego brata w nienawiści chowa,
Albo zabójstwa na kim ciąży zbrodnia,
Albo kto wyrzekł obelżywe słowa,
Albo kto zamknął swój dom dla przychodnia,
Czyjego słowa skutek był złamany,
Kto zgłodniałemu pożałował chleba,
Kto zranionemu nieopatrzył rany,
Ten ciężko zgrzeszył— pokuty mu trzeba!"
„Za wasze winy, uchylajcie czoła!
A kto jest w grzechu niech na twarz upada,
Nim czyją duszę do siebie powoła,
Bóg sprawiedliwy, co niebiosy włada.
Uczyńcie skruchę, spójrzyjcie w głąb siebie,
Bo niewiadome są chwile człowieka,
Bo jutrzejszego świtania na niebie,
Nie każdy z mężów bojowych doczeka,
Żałuj za grzechy!.."

Dalsze słowa zamarły na ustach starca, a na jego siwą brodę łza spłynęła... Stoi rozrzewniony hufiec; lwy waleczne stały się cichemi barankami; był to cud słowa Bożego...

Ale któż się to ukazał przed oczami hufca? w stu rękach błysnęło sto noży. Dziwna to istota! sto serc może oderwać od nieba, może skazić sto natchnień dobréj woli!.. To *Nowica*, to wróg przeklęty, to plaga swobody. Zbliża się ku pobożnemu gronu, a przystąpiwszy do kaplana, tak doń przemawia:

„Z Bogiem Czarnogórcy! niesięgajcie po oręże, jestem Nowica, ale nie wróg wasz, trzymam z wami, pragnę brodzić we krwi tureckiéj, wszystko mi odebrano,— została tylko prawica i tę ślubuję sprawie Czarnogóra. Ale że krzyża nieznosi Turek, ochrzcijcie mię, bo mi pilno do czynu!"

Sto noży opadło... Starzec skinął, podano mu czystą wodę: „Wierz— mówi—synu w Ojca najwyższego, wierz w jednorodzonego Syna, wierz w Ducha pocieszyciela; wierz mój synu! a wiara cię zbawi". To mówiąc, polał wodą przy świadkach czoło niewierne; potém wzniosł oczy i białą ręką, rozgrzeszył hufiec z jego grzechów i każdemu dał cząstkę chleba żywota. Rozpalone słońce patrzy i dziwi się z wysoka.

Tak w serce hufca weszła radość błoga,
Jeden drugiego uściska jak brata,
Wszyscy się czują pełni Pana Boga
A każde serce swobodniéj kołata.
Słońce wśród opok coraz silniéj pali,
Kapłan pożegnał— a huf poszedł daléj.

W ustępie czwartym p. t. *Haracz*, Izmael-aga zbiera podatek od Czarnogórców. Łaknący krwi drabowie uwijają się na bojowych koniach, rozbito białe namioty, a w nich pełno kajdan (sklopce) i groźnych kłodek na nogi (trlice). Od głowy wymagają po dukacie złotym, od ogniska po tucznym baranie...

Ze wschodu, zachodu, z północy i południa, srodzy *haracznicy*, wloką chrześcijan (raje), nagich, uwiązanych do końskich ogonów... Cóż oni biedni przewinili?.. przewinili tém że żyją, że niemają tego co Turczyn wymaga: złota i białego chleba.

Aga przed swym namiotem konno się uwija. Gdy zoczył haraczników, skoczył do nich na dzielnym gniadym koniu... Junaczy... ciska włócznię do celu, wbija ją w drzewo, wtém... koń mu się spotyka; drzewce od włóczni zachwiało się i Safarowi, który wiódł chrześcijan, wykłuło oko. Wytrysło oko na zieloną trawę; twarz się Turka krwią czarną zalała, zasyczał jak gadzina. Aga wybuchnął gniewem jak płomień; „biada rękom co zbierają haracz, a nic niedostaną, co ciskają włócznie a chybią, co ranią Turka zamiast chrześcijanina!..

„Mujo, Hasan, Omer Jaszar!—słyszycie psy? dosiądźcie najlepszych koni i przepędzajcie chrześcijan po polu, zobaczymy czy umieją szybko biegać!" tak zaryczał Aga, głosem dzikiego wołu.

Posłuszni słudzy popędzili polem, na chyżych koniach, wrzeszczą na konie, podkowy tętnią, jęczą chrześcijanie. Naprzód prześcignęli koni, potém trudno rozeznać czy prędzéj bieży koń, czy chrześcijanin, potém konie prześcignęły; biedni chrześcijanie biegną mdlejąc, nakoniec omdlałych konie już wleką po piasku, po błotnistych kałużach. Chrześcijanie stali się jako Hektor w Troi, kiedy już Troję opuścili bogowie. Aga z Turkami pogląda zdaleka; zachychotali takim śmiechem, jaki się rozlega po piekle, gdy grzesznik cierpi wiekuiste męczarnie. Aga krzyczy: „Słudzy! popędzajcie chrześcijan, a wy chrześcijanie wskrześnijcie prędko, abyście nam haracz dostarczyli!" Źli słudzy ujęli potrójne bicze, skoczyli na koń, i dopędziwszy smagali nieszczęsnych, aby ich orzeźwić. Chłostani, w kajdany zakuci, darci potrójném żelazem, dogorywają męczennicy; krew z nich się leje po ciele od biczów, na grzbietach leżą sine pręgi, jak gadziny „Hejże niewierni, powstańcie na nogi!" krzyczą Turcy; kto może, zbiera sił ostatek, powstaje, kto osłabnął, mniema że we śnie wiecznym, słyszy te wycia. Gdy ich dowlekli do namiotu, wściekły Aga woła: „haracz niewierni!— haracz! bo będzie gorzéj"

Stwórca dał ptakom przestrzeń niebios, rybom głębinę wody, zwierzętom łąki i góry, a chrześcijanom niedał ani kęsa chleba niepokropionego łzami, a co Bóg dał to odebrał łakomy Turczyn.

„Panie!—wołają—niemamy nic, ale daj nam sześć dni czasu, a wyżebrzemy u ludzi złota dla ciebie."

—„Haracz! haraczu mi trzeba!

„Chleba! chleba daj nam panie! bośmy go dawno nie jedli."

—„Czekajcie psy! jak wieczor zapadnie jeść będziecie mięso zamiast chleba! hej dajcie im podkowy!" woła Aga przed namiotem.

Źli słudzy wiążą chrześcijan; najczynniéj się krząta Safar jednooki, chcą się pomścić na nich za swe okaleczenie. Łoskoczą kłody na nogach *); „Haracz haraczu nam trzeba!" krzyczał Safar. „Chleba panie!— odpowiadają dajcie nam chleba, bośmy go dawno niejeli!"— „Poczekajcie do nocy, będzie mięso zamiast chleba!" mówią Turcy z urągowiskiem.

Niech kto może opisuje te męczarnie, niech kto może z chłodném sercem, słucha ich opowiadania. *(dok. nast.)*

*) Łowczyn (Lovćen) jest jedną z trzech najwyższych wyniosłości Czarnogórza, na południowo-zachodniéj granicy naprzeciw Albanji; ma 6,000 stóp wysokości. Można z niéj ogarnąć okiem Czarnogórze i okoliczne strony.

*) Kłody, po czesku trlice, narzędzie służące u Turków do bastonady (bicia kijami w pięty) ztąd Aga tę męczarnię nazywa podkowami.

PRZEGLĄD ROLNICZY.

Nawożenie gruntów powietrzem.— Podróż gospodarska po raz ostatni pod kierunkiem Wojciecha Jastrzembowskiego przez uczniów inst. Marymontskiego, w r. 1858 odbyta, opisał Piotr Grodzicki.— Wiadomości z dziedziny nauki, praktyki, przemysłu i handlu.

Doniesienie poprzednie o nawożeniu gruntów powietrzem, znalazło dwa obozy opponentów: jedni nie przypuszczali możliwości tego odkrycia, drudzy znów objawili obawę o naturalny stan powietrza, który tą fabrykacją na wielką skalę dokonywaną, zmieniéby się musiał. Obecnie przekonano pierwszych, że powietrze da się zmienić na nawóz, drugich zaś obawę uspokojono tém, że skład powietrza w sposób dotkliwy dla życia tworów organicznych wcale się nie zmieni.

Panowie *Marguerite* i *Lalouel de Sourdeval*, pracowali nad tem, aby amonje i saletroród z powietrza ściągnąć za pomocą *baryum*, czyli *barytu*, *(Ba* w stanie czystym i *Ba O* w połączeniu z tlenem), co im się udało, i tym sposobem mogą produkować sole nawozowe. Odkrycie to nagrodzone zostało przez kommissję ciała prawodawczego wielkim złotym medalem.— Obecnie nawozy te weszły na pole praktyki. Nawóz ten zupełnie się różni od nawozu atmosferycznego p. Chodźki (Koresp. Rol.).

Gazeta rolnicza umieściła w feljetonie 3-go i 4-go Nru, podróż gospodarską ostatni raz pod kierunkiem Wojciecha Jastrzembowskiego przez uczniów Instytutu Marymontskiego w r. 1858 odbytą.

Zaiste, jeśli się należy słuszna wdzięczność gazecie rolniczéj za pomieszczenie tak ważnego przedmiotu, autorowi za jego opracowanie, to pozwólcie sobie powiedzieć serdecznych słów parę. Ostatnia podróż Jastrzembowskiego, to ostatnie jego słowo, to łza pożegnalna, instytutu i uczniów, to święte relikwje dla nas wszystkich, którzyśmy mieli szczęście być jego uczniami. O ile z rzewnem uczuciem witamy rys téj podróży, (lubo dopiéro początek) o tyle spodziewamy się i pragniemy ujrzeć na pierwszym jego planie śmiało zarysowaną, wybitną, a zawsze promienną postać ukochanego nauczyciela, pragniemy uprzytomnić w duszy te błogie chwile, gdzie się sercem i duszą chwytało, jak rosę ożywną, natchnione jego słowa, które niejednemu w ciężkich próbach życia dodały siły i wytrwania, na dźwięk których, tak się prędko dojrzewało rozumem i sercem, i uczyło z wiarą i miłością zawsze na świat i ludzi, poglądać.

Lat już kilkanaście upływa, a zdaje się, że widzę wspartego na kiju tego sędziwego wędrownika otoczonego gromadką téj młodzieży, dla któréj nauki, siły, zdrowie poświęcał i ostatnie swe tchnienie poświęca, i przebiegającego raz ostatni z łzawem okiem tę ziemię, którą tylekroć swemi mierzył kroki, z któréj tyle skarbów dla nauki wydobył, i na któréj, każdy krok swą pracą uwiecznił, a miłością uświęcić umiał. Zda się, że go widzę na wyżynach Karpat, przychodzącego ostatni raz stanąć w obec téj wielkiéj otwartéj księgi, księgi natury, w któréj sam Bóg w chwili stworzenia odwieczne nakreślił słowa, wieki przewracają w niéj karty, a pokolenia na coraz nowéj stronnicy uczą się składać te olbrzymie zgłoski.

Oto więc jest, co oprócz rysu stanu gospodarstwa w zwiedzanych stronach naszéj ziemi, spodziewamy się znaleźć w opisie podróży, i to podróży ostatniéj Wojciecha Jastrzembowskiego z uczniami Marymontu odbytéj: spodziewamy się, że nam autor pozwoli czytając dzienniki jego podróży przenieść się w chwile ubiegłe, odetchnąć tamtem jeszcze życiem i łzą miłości zrosić te ślady ostatniéj wędrówki Wojciecha Jastrzembowskiego i tak je w wspomnieniu utrwalić jakbyśmy chcieli, aby i nietylko w nas samych, w życiu i czynach, ale w dzieciach i wnukach naszych ślad jeszcze pozostał, żeśmy byli Jastrzembowskiego uczniami.

— Machina do karczunku zastosowana obecnie w Algierji w praktyce ogromne przedstawia korzyści, machina ta w ciągu dnia karczuje 65 do 70 arow.

Donoszą z Francji, że w dniu 5 grudnia cesarz wydał prawo, mocą którego zboża jarzynne i mąka z nich oprócz 25 centimów od 100 kilogramów, przy wprowadzeniu do Francji, uwolnione zostały od wszelkich podatków aż do 30 września r. b.

Cukrownictwo zbogacone teraz zostało nader ważnym odkryciem p. Chatolaina, który otrzymany sok z buraków może przechowywać kilka miesięcy bez psucia się i z niego otrzymuje wyborowy cukier.

Jeden gospodarz francuzki podaje łatwy i nader praktyczny sposób przechowywania zboża i zapewnienia mu przewiewu, unikając kosztownego szuflowania. Sposób ten polega na tém, aby przy zsypywaniu zboża w zasieki co parę łokci ustawiać kanały z rurek drenowych. Sposobu tego używają obecnie już w wielu gospodarstwach we Francji.

Czytamy daléj w gaz. Rol., że dnia 15 stycznia obywatele Piotrkowskiego i sąsiednich powiatów, licznie zgromadzili się w Piotrkowie dla założenia domu zleceń z nad Warty i Pilicy, trzej obywatele Józef Zielonka z Radomskiego, Jacek Siemieński z Olkuskiego, Julijusz Kucz z Opoczyńskiego ofiarowali swe mienie i nazwiska dla dobra téj instytucji.

Spółka nabiałowa zaczyna wchodzić w życie p. Grabowski z Mrogi i Rossman z Piotrowic sprowadzili szwajcara i wspólnie sery wyrabiać będą.

W Wieluniu obywatele tamtejszego powiatu zakładają sklep podobny do założonych w Płocku, Łomży i Suchedniowie.

Obywatele pojęli tam siłę zbiorową na drodze rolnictwa, przemysłu i handlu i w coraz ściślejsze spajają się ogniwa. Kiedy to u nas na Litwie i do tego przyjdzie, i czy przyjdzie kiedy? boć to u nas nim się krok zrobi, to rok trzeba gawędy i na tych to niby wielce rozumnych naradach z których się i mysz nie urodzi, wszystko się kończy.

W Węgrzech wyrób papieru z liści kukuruzy coraz więcéj się upowszechnia, papier taki z Węgier sprowadzają już obecnie do Wiednia i na nim drukuje się obecnie gazeta Wiedeńska Presse i Ostdeutsche-Post.

W Uściługu w gub. Wołyńskiéj utworzono dom kommissowy pod firmą Zakrzewski. Halp, i sp.

Obywatele Podolskiéj gub. złożywszy 5000 rs. postanowili założyć fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych we wsi Borówce i urządzenie fabryki poruczyli p. Mańkoskiemu, hr. Potockiemu i Sulatyckiemu, ciż obywatele zjechali się we wrześniu roku zeszłego do Borówki, zastali fabrykę prawie gotową i podwyższyli kapitał składkowy o 25,000 rs. celem urządzenia w niéj i odlewárni.

Zarząd wojenny w Alzacji wezwał ochotników na dostawienie ogromnéj ilości pszenicy. W Sztrasburgu, Lunewilu i Nancy, kupiono przez publiczną licytację, wielką także ilość zboża, jedni widzą w tym kroku rządu objaw wojenny, inny uważają go za czysty obrót handlowy.— Niedawno jeszcze chwalono naczynia cynkowe, w użyciu ich do nabiału, tymczasem naczynia te okazały się w czasie nietylko niedogodnemi ale nawet szkodliwemi dla zdrowia, tak, że w Saksonji rząd zakazał ich zupełnie używać. Doktor Fisk, badał szczegółowo ten przedmiot i według słów jego, mleko, które było nalane w takie naczynia, zawiera w sobie niedokwas cynku. Zauważano w ogóle, że w naczyniach cynkowych mléko nadzwyczajnie długo się konserwuje, lecz to właśnie ztąd pochodzi, że tworzący się kwas mléczny łączy się ciągle z rozpuszczalną solą cynkową; w tych miejscach, gdzie się tworzy słój śmietanki widoczne jest ukwaszenie metalicznéj powierzchni i ztąd śmietanka najwięcéj zawierać będzie w sobie soli cynkowéj. W każdym razie naczynia cynkowe winny być zastąpione innemi mniéj szkodliwemi dla zdrowia ludzkiego.

Oprócz zboża, kartofli, kukurudzy, buraków, znaleziono jeszcze jeden materjał, z którego można jeszcze otrzymać spirytus, a tém są dzikie kasztany.

W gazecie Bawarskiéj opisany cały ten proces, rezultsty okazały się dosyć zadawalniające.

Obecnie w Warszawie pokazywane jest praktycznie sztuczne wylęganie się kurcząt, za pomocą przyrządu Walléego, jest to skrzynia opatrzona trzema szufladami, w których dwóch pierwszych umieszczają się jaja, w ostatniéj zaś świeżo wylęgłe kurczęta, póki nie obeschną; wylęga się na raz 120 kurcząt, zwyczajnie w 21 dniach tak jak pod kurą. Cały ten przyrząd ogrzewany jest za pomocą wody, która znów utrzymuje się w jednakiéj temperaturze, za pomocą lamp olejnych opatrzonych kilku knotami, ilość knotów zapala się większa lub mniejsza w miarę tego, jaki stopień temperatury okazuje termometr, najwłaściwszy zaś stopień jest między 30 i 35 stopniami.

Machina Eryksona działająca za pomocą ogrzewanego powietrza, znajduje coraz większe zastosowanie do fabryk i rzemiosł niepotrzebujących wielkich sił; i tak, zastosowana jest obecnie do wszelkich tokarń, w kowalstwie, pralniach, do podejmowania ciężarów, da niektórych machin rolniczych, i drukarń, obecnie sprowadzona została do Petersburga machina Eryksona o dwóch siłach dla poruszania szneilprassy w typografji Ohryzki w Petersburgu.

Otwarcie nawigacji na bliższych nam portach spodziewać się każe obecnie wielkiego ruchu handlowego, ponieważ targi Londyńskie, wiele okazały w ostatnich czasach życia, niemniéj także we Francji, Włoszech a nawet i Austrji, ceny w ciągu ostatniego tygodnia podniosły się o 5 szylingów na kwarterze.

U nas w Wilnie ceny zboża jeszcze na jednakiéj utrzymują się stopie i tylko mniejszy lub większy dowóz targowy, kopiejkę podwyższy lub zniży na pudzie, wszelako kupcy po obecnych cenach zboże na spekulacją chętnie kontraktują. Największy niedostatek spostrzegać się daje w bydle opasowém, jatki prawie puste bo oprócz cielęciny i kabaniny, wołowego mięsa bardzo mało i to w bardzo nędznym gatunku, dla tego też cena teraz w zimie dochodzi 7 kopiejek funt, za woła średniego płacą do 60 rubli srebrem.

W ogóle w ostatnich latach widzimy ciągłe podwyższanie się ceny bydła tak opasowego jak niemniéj młodzieży krów dojnych i wołów roboczych, już to skutkiem tak często grasującéj u nas zarazy, już nareszcie skutkiem zaniedbanéj ogólnie hodowli bydła; jest to błąd, który szczególnie w teraźniejszéj epoce przejścia do samoistnego gospodarstwa, potrzebującego tyle siły uprzężnéj, nader drogo opłacić będzie trzeba. *T. Snarski.*

PRZEGLĄD PISM CZASOWYCH.

Gazeta Warszawska (do 46):

— Towarzystwo rolnicze w Królestwie Polskiém wyznaczyło niedawno na temat rozprawy, napisanie projektu urządzenia kass pożyczkowych. Uprzedzając mającą się kiedyś zjawić rozprawę dla pozyskania złotego medalu,— p. A. W. wystąpił w Gaz. z artykułem, w którym podaje równie proste, jak i z łatwością wykonać się mogące sposoby urządzenia rzeczonych instytucij, niezbędnych przy nowym układzie stosunków. Za wzór do projektowanych banków pożyczkowych wiejskich p. W. stawi już istniejące. Stanisław Staszic, urządzając swą rolniczą osadę w Hrubieszowie, nieprzepomniał o kassie pożyczkowéj jeszcze w r. 1822. W r. 1845 powstał bank pożyczkowy w mieście Kodniu w Bielskiém, a późniéj w Konstantynowie w Łosickiém. Do tego rzędu należy jeszcze bank pożyczkowy w Złotym Potoku. Zasady tych instytucij są jedne i też same, a pomyślne ich trwanie, oraz podniesienie się zamożności mieszkańców, dowodzi błogiego wpływu kass podobnych. Powstały one skutkiem darowizny gminie kapitału zakładowego, z obowiązkiem administrowania przez urzędników zarządu majętności. Pożyczki wydają się osiadłym mieszkańcom dóbr w summach okrągłych: 50, 100, 150 i 200 złp. Przy udzieleniu pożyczki wymagane jest poręczenie własném mieniem oraz dwóch współrolników osiadłych. Pożyczający, w razie niewypłaty, poddaje się dobrowolnie egzekucji administracyjnéj wójta gminy upoważnionego wtedy do podobnéj czynności. Wypłata pożyczki odbywa się ratami tygodniowo: kto np. pożyczył 50 złp. płaci co tydzień po 2 zł. przez pół roku,— pożyczacy 100 zł., takąż samą ratę przez rok cały,— wziąwszy 150 zł., płaci się po 3 zł., a z 200 zł. po 4 co tydzień w ciągu roku. Warunkiem koniecznym jest regularna co tydzień opłata raty; żadna zaległość z jednego tygodnia na drugi niemoże być dopuszczoną, ze zwróconego bowiem kapitału wydają się pożyczki innym potrzebującym. Przy takim obrócie, procent dla dłużnika z końcem roku wynosi 4 od sta (52 tyg. po 2 zł. daje 104 złp.); lecz w rzeczywistości stopa ta jest daleko wyższą; gdyż najprzód pożyczający płaci za sto złotych, których niema w rozporządzeniu przez rok cały, tak, że w ostatnim tygodniu przyszłoby zamiast od całéj summy, uiszczać procent jeno od 2 złotych; a powtóre, odebrane od jednego i w tymże roku pożyczone drugiemu raty przynoszą nowy procent. Otrzymane tą drogą dochody obracane są w powyższych bankach pożyczkowych na fundusz żelazny; stąd np. w Kodniu kapitał zakładowy zdwojony już został. Te proste i jasne tak dla administracji jak i dla pożyczającego zasady, stać się powinny ustawą każdego podobnego zakładu, lubo nic nie stoi na przeszkodzie ich wszechstronniejszemu rozwinięciu. Spłata pożyczki ratami i otwieranie tym sposobem nowego kredytu jest rzeczą nadzwyczaj ważną; tym bowiem sposobem kapitał nawet początkowo bardzo mały, przynosić może znaczne nader z początku skromnego, niemówiąc o darowiźnie gotówki, co nie wszędzie może znaleźć gotowość, przedstawia się nadewszystko pożyczka. Właściciel dominjum, bez wielkiego podług nas wysilenia, mógłby na rzecz banku ofiarować stosownie do rozległości dóbr mniéj lub więcéj znaczną pożyczkę kilku tysięcy złotych na czas przydłuższy, z procentem umiarkowanym, lub jeśli woli i bez odsetków;— regularne uiszczanie się włościan na jego gruncie osiadłych, coś także znaczy. Drugiém, może mniéj obfitém w skutek ubóstwa naszych włościan, ale zawsze niedającém się lekceważyć źródłem byłyby pożyczki udzielane swemu bankowi przez włościan zamożniejszych, czyli połączenie w jednéj instytucji kassy pożyczkowéj z kassą oszczędności;— oparty na wskazanych powyżéj obrótach stosunkowo niemały procent od dłużników banku pożyczkowego, dawałby możność płacenia wierzycielowi mniejszego, np. 3 od sta. Te są główne źródła do utworzenia pierwiastkowego, powtarzamy, choćby nader z razu szczupłego kapitału; pomijamy inne pomniejsze, które niezawodnie dadzą się znaleźć. Zarząd kassy, niewymagający wygórowanéj znajomości buchalterji, powinienby być prowadzonym przez rządcę dóbr z udziałem miejscowego proboszcza i samego ludu wiejskiego. Rachunki i kassowość zawsze będą należały do prowadzącego pisarza, ale przedstawienie kandydatów do pożyczki, decyzja jéj udzielenia, niech stanowi się na radzie tych żywiołów wioski, które ją reprezentują, czy to z prawa, czy z intelligencji. Niech gromada wybiera rok rocznie delegowanych do zasiadania od siebie w radzie kassowéj, niech oni przedstawiają kandydatów do pożyczki, niech im także służy głos przy ostatniéj decyzji. Duchowieństwo, którego obowiązkiem moralnym jest nigdy i nigdzie w celach zacnych nieodmawiać swéj pomocy, niemałą tu może oddać przysługę: sama jego obecność w radzie utwierdzi znaczenie instytucji między ludem, podniesie ją w jego opinji...

— D. 4 b. m. na posiedzeniu wydziału historycznego w Towarzystwie przyjaciół nauk poznańskiém, p. L. Wegner czytał sprawozdanie o muzeum germańskiém w Norymberdze. Na témże posiedzeniu otrzymano nadesłany dla Towarzystwa od p. Kantaka z Dobieszewka dar wspaniały w całém znaczeniu wyrazu, zbiór najrozmaitszych wykopalisk starosłowiańskich, składający się z 83 przedmiotów.

— W Poznaniu zawiązuje się stowarzyszenie czeladzi rzemieślniczéj, na wzór takiegoż stowarzyszenia lwowskiego.

— W Berdyczowie liczba dzieci płci obojéj wszystkich wyznań, uczęszczających do rządowych i prywatnych szkół i pensij, dochodzi 500 osób. Wszystkich zakładów znajduje się tam siedm, a z tych pensja p. Czerwińskiéj urządzoną jest dla ludności chrześcijańskiéj; do pozostałych sześciu uczęszcza młodzież wyznania mojżeszowego.

— Od czterech wieków chrześcijanom pod rządem tureckim niewolno było używać dzwonów. W Hercogowinie tego roku piérwszy dzwon się odezwał z wieży klasztornéj pod Trzebiną.

— Kupcy słoweńscy i dalmaccy podpisali znaczne summy na wznowienie dawniéj wydawanego dziennika „Jadransky Slavan" (Adrjatycki Słowianin), oraz na założenie słowiańskiego Kassyna.

— W Paryżu z drukarni Claye'go wyszedł „Ołtarzyk Ostrobramski." G. W. myli się utrzymując, iż ten Ołtarzyk był „znany z dawniejszych edycij wileńskich:" żadnego bowiem Ołtarzyka Ostrobramskiego do roku przeszłego niebyło nigdy na świecie. Obecnie za to mamy już dwa, jeden wydany teraz przez p. Wilczyńkiego, a drugi nieco piérwiéj przez M. Orgelbranda.

Gazeta codzienna (do 46):

— Według doniesienia korespondenta z Poznańskiego, w drugiéj połowie bież. mies. miało się odbyć w Poznaniu kilka wielkich zgromadzeń, całe obywatelstwo W. Księstwa obchodzących. Naznaczono na d. 20 lutego walne zebranie Towarzystwa naukowéj pomocy i zapowiedziano w dniu następnym walne zebranie wszystkich Towarzystw rolniczych w W. Ks. Poznańskiém istniejących. Na piérwszém z nich rozstrzygnie się zapewnie stanowczo od roku po powiatach roztrząsana kwestja: czy pozostawić Towarzystwu naukowéj pomocy dotychczasową jego nazwę i jakim pomnikiem uwiecznić pamięć jego założyciela, nieodżałowanego Marcinkowskiego? Na drugiém będzie celem obrady, a może i zostanie roztrzygniętą kwestja utworzenia centralnego na całą prowincję Towarzystwa rolniczego, któreby wiązało, jednoczyło i ześrodkowywało działalność różnych Towarzystw powiatowych, jakie już od lat wielu istnieją lub świeżo się potworzyły. Do rzędu ostatnich należą Towarzystwa rolnicze, dla powiatów pleszewskiego, odolanowskiego i ostrzeszowskiego w końcu stycznia r. b. w Ostrowie zawiązane, tudzież ukonstytuowane w Inowrocławiu dla powiatów mogilnickiego i inowrocławskiego.

— D. 11 b. m. odbyło się w Krakowie posiedzenie oddziału nauk przyrodniczych i ścisłych w Towarzystwie naukowém. Prof. Steczkowski odczytał na niém rozprawę „O znakomitszych odkryciach w dziedzinie astronomji w ostatnich latach 15tu", a d-r Majer prezes Towarzystwa w imieniu wyznaczonéj do tego kommissji odczytał program do wydawać się mającego czasopisma p. t. „Tygodnik lekarski". Projekt ten, jako odpowiadający powszechnemu życzeniu i potrzebie, przyjęto; narady zaś nad sposobem przywiedzenia do skutku tego zamiaru, odłożono do najbliższego posiedzenia.

— P. Konstanty Hoszowski napisał i wydał bardzo zacną i chwalebną podług sprawozdawcy pracę p. t. „Żywot Andrzeja Zawiszy Trzebickiego bisk. krak." P. Kraszewski ocenia w niéj wielką pracowitość i aż w najmniejszych drobiazgach zachowywaną staranność; lecz zarzuca, iż książka jest niezmiernie suchą.

— Staraniem jednego z przyjaciół śp. Dominika Szulca w tych dniach wydany został wizerunek zmarłego. Pięknéj téj roboty podjął się z fotografji wykonać p. Maksymiljan Fajans i zrobił to z wprawą i talentem. Portret podobny i ładnie rysowany przeznaczonym został przez przyjaciela zmarłego professora na powiększenie składki, z któréj stanie dlań grobowiec.

— W d. 13 b. m. zakończył życie w Warszawie śp. Wojciech Szymanowski, wysłużony artysta dramatyczny, redaktor niegdyś kilku pisemek i tłumacz wielu dzieł rozmaitéj treści.

— D. 14 b. m. w kościele pp. Wizytek rozpoczęto roboty około pomnika Tadeusza Czackiego, z Rzymu nadesłanego przez p. Oskara Sosnowskiego. Pomnik ma być umieszczony po prawéj stronie głównéj nawy.

— W Warszawie na główniejszych ulicach i placach jest już obecnie latarń ze światłem gazowem 874.

KORESPONDENCJA KURJERA WILEŃSKIEGO.

Petersburg, *d. 10 lutego 1860 r.*

Zacny Redaktorze! Przysłowie Arabów „wieść miłsza, kiedy kłamliwa" to jest, podług rozumienia beduińskiego „nieraz złowroga wieść bywa przyjemniejszą, kiedy okaże się kłamliwą," stwierdza się, z doraźną ulgą serca naszego, na p. Ignacym Pietraszewskim. Z dwóch źródeł mieliśmy, zdaje się, najpewniejsze doniesienie o godnie odżałowanym już w pismach publicznych zgonie naszego orjentalisty: najprzód z Gazety Berlińskiéj, powtórzonéj w dziennikach zagranicznych, w *Journal de St. Petersburg* i w gazetach krajowych, następnie z nader zajmującéj korrespondencji Teherańskiéj w dzienniku Tyfliskim „Kaukaz, zamieszczonéj w przekładzie w *Journal de S-t Petersbourg* pod 15-m grudnia roku ubiegłego, w któréj korrespondent, wytrawny i świadom rzeczy, ile mi się zdaje, urzędnik przy poselstwie rossyjskiém i świadek krótkiego jeszcze poby-

tu p. Pietraszewskiego w Persji, podał najpiękniejszy zarys o naukowym jego żywocie i świadectwo najchlubniejsze o szlachetnym charakterze i wzniosłych przymiotach duszy jego. Na takich to danych napisałem o nim pobieżne wspomnienie w *Kurjerze* Wileńskim, i prawie jednocześnie ukazał się o nim artykuł w *Gazecie codziennéj*. Tym czasem w dniu wczorajszym czytaliśmy w *Journal de S-t Petersbourg*, N. 33, list tegoż korrespondenta *Kaukazu*, pisany z Teheranu 27 listopada minionego, z którego dowiadujemy się, że p. Pietraszewski żyje. Oto słowa jego „Doniosłem wam niedawno o zgonie p. Pietraszewskiego, drogmana missji Pruskiéj, lecz, na szczęście, nieboszczyk wrócił do Teheranu przed tygodniem, żyw i zdrów całkiem. W istocie, p. Pietraszewski, będąc już słabym przed wyjazdem missji w głąb' Persji, został przymuszonym opuścić ją we wsi Abade, w odległości dwudziestu farsachów (mil naszych) od Szyrazu, gdzie pozostawał, dwa dni pozbawiony zupełnie czucia, ale mocna budowa ciała jego zdołała przezwyciężyć śmiertelną chorobę. Przyszedłszy do zdrowia, wrócił do Ispahanu,—lecz tam na wstępie głęboko zasmuciła go bolesna wiadomość o śmierci czcigodnego jego naczelnika, barona Minutoli, posła pruskiego przy dworze perskim, który prócz tego, otrzymał był od rządu swego polecenie zbadać na miejscu stan handlu, w główniejszych jego punktach, to jest w Ispahanie, Szyrazie i w Bender-Buszyr; „a nie mogąc przenieść szkodliwego klimatu i niewygod podróży, z nieodżałowaną stratą dla nauki, umarł na drodze, w 69 roku życia. Bez wątpienia, błogo będzie p. Pietraszewskiemu dowiedzieć się, jakie sądy wydano o pracach jego i o nim samym; aż nadto jestem przekonany, że nie weźmie mi za złe, jeśli z całą otwartością dotknąłem i ujemnéj strony w jego uczonych badaniach. Ale czytelnicy, którzy porównywali oba artykuły, jeden w Kurjerze, drugi w Gazecie Codziennéj, mogli zauważyć rażącą niezgodnosc w wielu szczegółach; na obronę podań moich to tylko powiem, że one oparte są na urzędowych stanach służby jego w ministerjum spraw zagranicznych i przy uniwersytecie tutejszym, i na stosunkach zażyłości naszéj w ciągu kilkudziesięciu lat, począwszy od r. 1826-go, czuję się przeto wolnym od pomawiań o fałsz lub przesadę. Nauka wygra niezawodnie na tém, że Opatrzność wyrwała go z objęć śmierci, albowiem dalsze prace jego przyniosą niezaprzeczoną korzyść dla filologji porównawczéj i sławę w potomności dla niego samego: inne przysłowie arabskie głosi; „nie umiera, kto daje życie nauce.“

Drugie to podobne zdarzenie trafia się z orjentalistą za dni naszych. *P. Szarmua* (Charmoy), były professor literatury perskiéj w uniwersytecie Petersburskim i w instytucie języków wschodnich przy departamencie azjatyckim, w świecie uczonym znany z kilku dzieł ważnéj treści, po wysłużeniu emerytury, wrócił do Francji, a usunąwszy się od wszelkich stosunków literackich, zamieszkał gdzieś na wsi, nie dając o sobie żadnego znaku życia. W dziennikach zagranicznych ogłoszono śmierć jego, a orjentatista tutejszy, Saweljew Paweł napisał o nim szczegółową biografję, lecz niebawem pokazało się, że Szarmua żyje i po dziś dzień. Z dzieł jego, bliżéj nas obchodzi ogłoszone przezeń wydanie pracy naszego rodaka, ś. p. *Szpicnagla Ludwika*, pod tytułem „Expédition d'Alexandre le Grand contre les Russes: extrait de l'Alexandréide ou Iskender namé de Nizamy, traduit par Louis Spitznagiel, publié par F. B. Charmoy. Tome I-r S-t Petersbourg 1829 in 8-o: to powoduje mię dołączyć tu dla naszéj bibliografji parę słów o tym młodym orjentaliście, którego śmierć przedwczesna, na 21-m roku życia, porwała z łona muz wschodnich, z niepowetowaną stratą dla literatury.

Szpicnagiel Ludwik, urodzony w Wilnie 9-go stycznia 1807 r., po odbyciu tamże nauk klassycznych w gimnazjum i uniwersytecie, gdzie ojciec zajmował katedry Farmakopei i Materji medycznéj, w lipcu r. 1823 przybył do Petersburga, w zamiarze poświęcenia się nauce mów azjatyckich w instytucie języków wschodnich, dokąd uczęszczał na lekcje, najprzód w stopniu ucznia nadetatowego, a po roku, w 1824-m, był przyjęty na koszt ministerjum spraw zagranicznych. Wyobraźnia gorąca, nieprzełamana namiętność do podróżowania, smak stanowczy do tego wszystkiego co ma związek ze wschodem, takie to podniety w nim przełamały pierwsze zawady i trudności, jakie się napotykają na wstępie w tym rodzaju umiejętności, z początku suchéj i zniechęcającéj młodociane umysły; postępy zatém jego były bystre i wielkie, w ciągu trzech lat nabył niepospolitéj znajomości w językach arabskim, perskim i tureckim, a po wytrzymaniu egzaminu, na początku r. 1827 został mianowany drogmanem przy konsulacie jeneralnym w Aleksandrji. Posada ta zgadzała się zupełnie z jego żywem pojęciem o ziemi klassycznéj Egiptu, i już zdawał się poglądać z rozkoszą na te majestatyczne piramidy, niewzruszone pomniki wieków tak odległych, lecz, niestety, nie sądzono mu było na miejscu podziwiać żyzne krainy Faraonów, cudowne brzegi Nilu: niespodziany zgon, nastąpiony w tymże roku, przed wyjazdem na wschód, przeszkodził ziścić najpiękniejsze nadzieje jego, kraju i świata uczonego. Zostawił w rękopisie orzeczony przekład poematu poety perskiego *Nizami*, w języku franuskim, poświęcony przezeń dyrektorowi instytutu, *Fryderykowi Adelungowi*, który zobowiązał p. Szarmua przejrzeć, poprawić i dopełnić ten przekład. Było zamiarem wydawcy załączyć w tomie drugim noty filologiczne, jeograficzne i historyczne, ale nie doszło to do skutku. Brat ś. p. Ludwika, p. *Aleksander*, po ukończeniu także nauk w uniwersytecie Wileńskim, a potém w instytucie języków wschodnich w Petersburgu, zaszczytnie przebiegł karjerę dyplomatyczną na różnych posadach na wschodzie. W naszém piśmiennictwie znane są prace jego: rozprawa pod tytułem „Uwagi tyczące się wskazania potrzeby, celu i obowiązków urzędu sądowego, Wilno 1827 i kilka artykułów w *Tygodniku* Petersburskim, a mianowicie:“ Wyobrażenie Persów o tworzeniu się metalów i kruszców (N. 15 r. 1830), „Towarzystwo wschodnich tłómaczów w Anglji“ i inne.

Na posiedzeniu publicznem uniwersytetu tutejszego, 8-go bież. miesiąca, uwieńczone zostały medalami rozprawy czterech uczniów rodaków naszych: *P. Matuszewskiego Aleksandra*, ucznia kursu trzeciego, wydziału nauk przyrodzonych, medalem złotym, rozprawa z Chemji: „o sposobach używanych dla oznaczenia ciężaru atomu ciał prostych;“ inni trzéj otrzymali medale srebrne: p. *Salecki Marcin* stypendzista królestwa Polskiego, kursu czwartego z tegoż wydziału i przedmiotu, p. *Matkiewicz Lucjan* kursu czwartego, wydziału matematycznego z matematyki: „o integałach“ i p. *Brochocki Konstanty* wolny słuchácz, z prawa Rzymskiego „o pochodzeniu i znaczeniu podziału rzeczy na *mancipi res* i *nec mancipi res*.“ Cyfra takowa naszych laureatów, w stosunku do całkowitéj 10-u, najdowodniéj poświadcza o pracach i postępach naszéj młodzieży w uniwersytecie. W akademji medycznéj na początku obecnego roku dwaj nasi Litwini, z chlubą dla imienia naszego występowali publicznie: p. *Radecki Jan*, lekarz wielkich nadziei, miał lekcją wstępną o chorobach dzieci, które będzie wykładał w téjże akademji i p. *Januszkiewicz Ludwik*, biegły już chirurg i znakomity okulista, w przeszłym tygodniu świetnie obronił na stopień doktora rozprawę w przedmiocie okulistyki: oba z gubernji Wileńskiéj, ukończyli nauki przed kilku laty i otrzymali medale złote w tutejszéj akademji Medyko-Chirurgicznéj. *A. Muchliński.*

List z Wilna, *13 stycznia 1861 r.*

(Dokończenie ob. N 14).

II.

Moralne dobro podrzutków w zakładzie, w którym żywioł ekonomiczny i administracyjny przemaga, nie może w pełni dosięgać celów wyższych, nawet we własnym swoim wewnętrznym obrębie. Dzieci, których urodzenie zmazane zbrodnią rodziców—*podrzutki*— potrzebują dla się szczególniejszego wychowania i prowadzenia. Piastunki ich, nauczyciele i nauczycielki, zastępcy ojców i matek, kształcąc je na dobrych i bogobojnych członków społeczeństwa, powinni zetrzeć z ich czoła i serca piętno podrzutka. Poczucie godności ludzkiéj w obec własnego sumienia, w obliczu prawa i ludzi, tak jest wszystkim wrodzone i silne, że je pogwałcić na zawsze albo zaniedbać i stłumić—jestto, zatrzymać rozwój charakteru na drodze cnoty, ułatwić drogę występkom, pochylić duszę ku moralnemu spodleniu. Wychowanie więc tego rodzaju dzieci wymaga szczególniejszego doboru osób i taktu postępowania. Poddać te sieroty mieszanym i różnorodnym wpływom nauczycieli, nauczycielek, piastunek, sług zakładowych i niewiadomych opiekunek i prowadzić podług programmu rządowéj administracji, nie będzie to jeszcze *miłosierdzie zupełne i bezwarunkowe.* „Kobieta, (słowa sprawozdania) przymująca dziecię na karmienie, obowiązaną jest hodować je do lat ośmiu za opłatą, a po skończonych ośmiu latach, zatrzymać przy sobie, jeżeli otrzyma na to zezwolenie zwierzchności.“ Czy nie za długi to termin. Nie każda zapewne będzie nieszczęśliwemu dziecięciu miłosierdziem wcielonem. Opatrznością widomą, coby je przywiodła do zakładu po ośmiu leciech, z pewnym dowodem osiągniętych celów moralnych i wyższych. „Wielka też szkoda“ powtarzamy z szanowną Redakcją Kurjera „że dla chłopców nie urządzono jakiego warsztatu, że nie pomyślano o tém, ażeby w świat wychodząc mogli sobie na chleb zarobić. Obecnie gdy opuści zakład, z piętnem podrzutka na czole, nie umiejąc nic zarobić, ani też sobie na chleb zapracować, musi stać się ofiarą ogólnego prądu zepsucia.“ Głęboko poczuta prawda, w jednostce braterstwa! Wychowanek zakładu wypuszczony z elementarną nauką, bez zaprawienia się w ręcznéj pracy i posiadania jakiegokolwiek rzemiosła, jest całkowitym nieukiem wśród pracowitéj klassy naszego ludu. Osiadły w mieście, albo co się częściéj zdarza na wsi, gdzie nasz lud roboczy mieszka rodzinami, i prowadzi życie patryarchalne, sam bez rodziców i związków rodzinnych, ujrzy siebie od razu w osamotnieniu, w upośledzeniu, i w niedołęztwie samodzielnego życia stanie nad przepaścią. A jeżeli moralność jego i cała przyszłość cofnęła się za łaską Bożą z nad przepaści, jeżeli potrafi chwycić się jakiego godziwego zarobkowania, wybrnie *z prądu ogólnego zepsucia*, to z łzą w oku ma prawo powiedzieć: *miłosierdzie* było względem mnie *połowiczne i warunkowe*—wtedy, zapewne.

Za naszéj jeszcze pamięci przed 25 laty (dawno to już wprawdzie) dziatki z zakładu, hodujące się licznie w historycznéj mamkarni w *Żozlach*, rekrutowały inne zakłady, konwikty pauperów, szkółki klasztorne i stoły rzemieślników. Kto nie przypomni owéj muzyki choralnéj chłopaków w błękitnych kitelkach, tak zwanéj z Dobroczynności, która zwykle towarzyszyła każdemu ubogiemu konduktowi. Kto nie słyszał owych chorów dzieweczek, w białych czépeczkach i piaskowych szlafroczkach, wyśpiewujących Agnus Dei! w zachwycających dziecinnych głosach. A owi mali ogrodniczkowie, tkacze, stolarczuki, rzeźbiarze co się kształcili w zakładzie, a późniéj albo byli sami nauczycielami młodszéj swéj braci podrzutków albo *rozchodzili się po świecie.* Kto nie widział jak małe dziatki obszywały, sprawiały obuwia dla siebie i swych *miłosiernych pań matek.* Może nie jeden ogród (*) wyrosł zasadzony ręką ogrodniczka podrzutka,—nie jedna studnia, krynica, opracowana ręką dziecięcia wzrosłego w zakładzie, poi do dziś dnia całe pokolenia. Może nie jedna książka do nabożeństwa odbita przez podrzutka zecera, była w ręku umierającéj jego matki rodzicielki. Może nie jeden krzyż ukuty ręką sieroty, stoi i dziś nad grobem, być może jegoż matki. Nie jedno dziecię wyszło na zdolnego felczera, cyrulika a owi dobroczynni niewiadomi Teodorkowie, owi ludowi gienjusze pocieszyciele czy nie byli li tylko ludzie wzrośli w miłosierdziu *uczynném*. Zkąd powstali owi Jankowie, Wincuki, Kaziuki, Staśkowie, co chodząc kiedyś w kitelkach zakładu, jako sierotki wzięte po śmierci rodziców na opiekę zakładu, byli i są wzorem pracy i moralnéj trzezwości. Zapewne nie jeden żyje i dziś—może już ojciec rodziny, może wyniosł dla społeczeństwa, w którém dziś jest, zarody przykładu, pobożności i szczęścia rodzinnego, onby nam opowiedział doraźniéj fakt *pełnego i niepołowicznego miłosierdzia*, onby swem życiem zbił owo nieludzko pomyślane przysłowie „male parta“ i dowiódł, że i sierota podrzutek ma prawo być człowiekiem, i wzywać *uczynnéj* opieki.

III.

Stosunek dzisiejszego zakładu D. J. *do matek*, których niemowlęta bierze w swą opiekę, pchnięty koniecznością swojéj litery organizacyjnéj, działa mimowolnie ujemnie.

Jakiebykolwiek było społeczne, familijne i osobiste położenie matki, związek jéj z dziecięciem musi oddziaływać stanowczo na dalszy bieg ich życia, a walką którą mają odbyć, w stosunku własnego summienia, twardszych lub ługodniejszych okoliczności, opinji, wspomnień i samego prawa, muszą koniecznie działać na rozwój dalszego postępowania. Nie każda więc rzuci swe dziecię, wyrzecze się go na zawsze, bez nadziei poznania i oglądania go kiedykolwiek (*). Zakład zaś dając opiekę dziecięciu, pod wpływem swéj organizacji, odpycha na zawsze matkę, zaciera wszelki możliwy jéj przystęp, a więc rwąc węzeł rodzicielskiéj spójności—a tém samem pozbawiając na zawsze dziecię rodziców a ich dziecięcia, koniecznie działa w stosunku niemnym.

Wprawdzie i przed laty zakład nie wpływał bezpośrednio na matki, ówczesne jednak warunki łagodziły rozwój zła społecznego, przez samo już współczucie dla matek, których winy nie zawsze były do tyla ohydne i zepsute, iżby nie znalazły wsparcia w miłosierdziu z poświęcenia się. Ztąd każda kobieta matka, bez pytania jéj rodu, dopadając do litośnéj ręki siostr Rozalji, Urszuli, Magdaleny, znalazła zawsze i czynną pomoc i moralną opiekę dla siebie i swego dziecięcia. Kto z nas nie słyszał, jak starannie przechowywano wszelkie kartki znaki, zapisy, prośby matek znajdywane przy podrzuconém dziecku. Ileż to było zdarzeń, iż tych zachowanych znaków występni właściciele, wchodząc na prawą drogę, przywracali podrzutkom ich prawa. Trzeba było występnéj niegdyś matce upaść tylko do nóg przełożonéj zakładu, zeznać swą winę, wskazać dziecię, i łatwo odzyskać je. W skromnéj celi zakonnicy, kobieta oko w oko z kobietą, przy świadectwie tylko wszechmocnego oka Opatrzności, znajdywała i dziecię i uspokojenie sumienia i ochraniała siebie od piętna publicznego sromu. Praw i przepisów tu być nie mogło żadnych, bo dla miłosierdzia tylko serce jest prawem. Czy jedna matka biegła z dziecięciem o pomoc i poradę w chorobie? Do dziś dnia spracowana staruszka *siostra Cecylja* jest wyrocznią biednym miejskim matkom, każda z nich nie pierwiéj usłucha rady lekarza, nie pierwiéj pomyśli o ratunku, nim nie zaniesie go do matki Cecylji, nie wycałuje jéj dobroczynnych rąk i nie usłyszy rady i słów pociechy. I oto była strona dodatnia zakładu, wpływająca pełném i bezwarunkowém miłosierdziem na zdrożne matki. Każdy się zgodzi, że dziś przy obostrzonem prawie zakładu, przy zachowaniu legalnych wymagań, zakład stracił zaufanie matek, stracił moralny na nie wpływ, stał się opiekunem li tylko dzieci, których matki, *rzucając je w mróz na ulicy pod samotnym parkanem*, są pewne, że się już na zawsze ich pozbyły a spokojne w swéj złości, śmiało brną w dalsze występki, mając zapewnione dla dalszego pokolenia otwarte sale położnicze w szpitalu ś. Jakuba i wszelką zręczność pod odludnym parkanem, lub w ręku policjanta.

IV.

Stosunek więc dzisiejszego zakładu do naszego miasta i w ogóle kraju sam sobą się wyjaśnia—a gdy przyszłość jest dla nas zakrytą, to następstwo zdoła osądzić inne pokolenie. Czy *moralność wygrała co na tém*, sąd o tém zostawmy wszechmocnemu Bogu, w Jego jest mocy dźwignąć upadające matki, i zakład i opiekę dla dziatek, i podnieść serca ludzi dobréj woli—którzy w łącznéj i miłosiernéj jedności braterstwa, nieśliby pomoc w uczynkowém miłosierdziu, bez obawy odpowiedzialności za uczucia chrześcijańskiego miłosierdzia, spełnianego nie dla pochwały świata a w poczuciu rozkazu Zbawiciela: *iżby drudzy patrząc na dobre wasze uczynki chwalili Ojca, który jest w Niebiesiech.*

(*) Ray ogród przy szpitalu D. I.

(*) Rozdzierający przykład tego czytaliśmy w N 51 kurjera.

Wszystko to, co dziś hoduje się w zakładzie i po za jego granicami, czy rośnie na dobro i pociechę czy na klęskę kraju, Bogu wiadomo,—społeczność ma obowiązek radzić, w stosunku klęsk i rozpaczliwych przygod żywota. Życzyć by więc należało i z całéj duszy pragnąć, by zakładowi szpitala *Dzieciątka Jezus*, zajasniała możliwa reforma, coby zaradziła i dziatkom i ich nieszczęśliwym matkom, wsparta zasadą *miłosierdzia całkowitego i bezwarunkowego.*

L. T.

Królewiec, *dnia 23 lutego 1861 r.*

Pora bardzo zmienna. W początkach tygodnia lekkie przymrozki, późniéj deszcz, a dziś przy 4° ciepła, powietrze nieco dżdżyste.

W Anglji targi zbożowe doznają w skutek drogiéj gotówki niemało w swym postępie przeszkód. Tranzakcje zawierają się coraz w mniejszéj liczbie i z większą ostróżnością. Ochota do spekulacji ostyga, lubo piękne i stare gatunki pszenic pociągają jeszcze młynarzy i odważnych spekulantów do siebie. Angielskie ziarno, według powszechnéj opinji, w mizernéj wypada kondycji, dla czego zagraniczne o wiele też więcéj jest poszukiwanem i na przyszłość nawet wiele obiecującem. Ceny jednak w porównaniu z przeszłym tygodniem choć niedotkliwie, ale już wyraźnie się zniżyły. Jare tylko zboże trzyma się mocno.

I w Hollandji, jak również w Hamburgu handel zbożowy przy końcu tygodnia też ustępował ze swojéj dawnéj pozycji.

Na naszéj giełdzie przedstawiał się stan rzeczy w porównaniu ze zagranicą i nawet innemi krajowemi placami o wiele gorzéj, czego powód li w braku na miejscu śpichrzów sobie tłómaczą. Pszenica i żyto w podrzędnych gatunkach się obniżyły, wyborowe zaś ziarno bez odmiany. Jęczmień choć po niższéj cenie, trudny do zbycia. Groch lubo poszukiwany, nieco taniéj odchodził.

Płacono ostatnio na giełdzie naszéj.

		za szefel Pruski			korzec Warszawski. z doliczeniem 14% agio.		
Pszenicy jasnéj z wagą	120 f. hol. — 125 f. hol.	sbr. 80	—	95.	złp. 42 15 gr.	—	50. 25.
» żółtéj »	110 » — 119 »	» 66½	—	78.	» 35 18	—	41. 25.
» czerwonéj »	113 » — 123 »	» 73	—	85.	» 39 2 »	—	45. 15.
Żyta	113 » — 120 »	» 45	—	51.	» 24 3 »	—	27. 9.
»	122 » — 128 »	» 55	—	60½.	» 29 14 »	—	32. 12.
na odstawę w maju i czerwcu za			—	53½.	» 28 19		
	120 »	»					
Jęczmienia wielkiego	104 » — 112 »	» 44½	—	52.	» 23 25 »	—	27. 25.
» małego . .	95 » — 100 »	» 38	—	41.	» 20 11 »	—	21. 28.
Owsa	60 » — 75 »	» 22	—	30.	» 11 23 »	—	16. 3.
Grochu białego		» 56	—	61½.	» 30 2 »	—	33.
,, burego		» 73	—	82.	» 39 2 »	—	44.
,, zielonego		» 70	—	83.	» 37 14 »	—	44. 14.
Bobu				66.			35. 9.
Wyki		» 30	—	56.	» 16 3 »	—	30. 2.
Siemienia lnianego	104 f. hol. — 116 f. hol.	» 68	—	85.	» 36 12 »	—	45. 15.
Koniczyny czerwonéj, Centnar tal.		» 14	—	18.			
,, białéj, ,, ,, ...		» 21	—	24.			
Tymoteusza ,, ,, ...		» 11	—	11⅓.			
Kuchów lnianych ,, ...		» 2	—	8 srbr. do 2 Tal. 12 srbr.			
,, rzepiowych ,, ...		» 1	—	25.			

Spirytusu beczka z naczyniem 8000% Tral. tal. 23⅓.

Ochota na wełnę coraz się wzmaga. Strzyż polska poszukiwana.— Obrót jednak w tym tygodniu był nader szczupłym, a ceny nominalnie te same co dawniéj.

Również ceny, konopi, lnu, śledzi, żelaza etc. bez odmiany.

Za rubla w papierze płacą 28½ srbr.

Kursa zamian. Londyn 3 mies. 198⅞ sbr. Amsterdam 71 dni 101⅓ sbr. Hamburg 9 tygod. 44⅞. Berlin 2 mies. 99⅓. Paryz 2 m. 79¾.

Agencja domu Nadniemeńskiego. *J. Gościcki.*

CENY TARGOWE

— Ceny zboża i innych produktów na targach Wileńskich w ubiegłym tygodniu były następujące: Żyta beczka 11 r. 50 kop.—Pszenicy 23 r.—Jęczmienia 10 r. 50 k.—Owsa 9 rub.—Grochu 11 r.—Siana pud 50 kop.—Słomy pud 20 kop.—Kartofli beczka 7 rub.—Masła pud 8 rub. 50 kop.

TEATR.

We Wtorek 21 lutego Tak się dzieje czyli Życie nad stan (komedja). Piekarnia (wodewil).

Słownika języka polskiego wydawanego przez Maurycego Orgelbranda, wyszedł zeszyt 30 i ostatni. Cena prenumeracyjna rs. 12, pozostaje tylko do pewnego czasu, późniéj się podwyższy. 1. (110)

NAKŁADEM I DRUKIEM KSIĘGARNI p. f.

JÓZEFA ZAWADZKIEGO

wyszło nowe i poprawne wydanie znanéj książki do nabożeństwa p. t.

GŁOS DUSZY.

Cena na papierze białym nieopr. . . . . rs. 2 kop. 25.
oprawna w safian . . . „ 3 —
na papierze welinowym nieopr. . . . . „ 2 kop. 70.
oprawna w jaszczur paryzki „ 3 „ 75.

Taż sama książka na papierze extrawelinowym znajduje się w najrozmaitszych oprawach paryzkich, w jaszczur i aksamit z medalionami i bez, kość słoniową i szyldkret na rozmaite ceny od rs. 7 do rs. 30. 1. (113)

ВЪ ЛАВКѢ галантерейныхъ товаровъ *Коссовскаго* на Нѣмецкой улицѣ въ домѣ Геца, на дняхъ полученъ свѣжій транспортъ комнатныхъ обоевъ и бордюръ разныхъ сортовъ новѣйшаго вкуса. Не смотря на то, что фабричная цѣна онымъ весьма умѣренна, сказанная лавка дѣлаетъ еще покупщикамъ уступку 15% и ручается за доброкачественность товаровъ. 1. (108)

DO MAGAZYNU towarów galanteryjnych *Kossowskiego* przy ulicy Niemieckiéj w domu Gieca nadszedł w tych dniach świeży transport obić pokojowych i bordiury w znacznym wyborze podług najnówszego gustu. Pomimo że cena ich fabryczna nader umiarkowana, wspomniony magazyn jeszcze ze swéj strony ustępuje dla kupujących 15 % i ręczea za dobroć towarów. 1. (108)

DWA DOMY MUROWANE

są do sprzedania w mieście Grodnie położone w środku miasta. Ktoby życzył one nabyć lub powziąść bliższą wiadomość może się zgłosić do Nowogródka Mińskiéj gubernji do aptekarza Kazimierza Nerge. 1. (111)

DWA MŁODE KONIE, czysto wiatskiéj rasy, z całą uprzężą, drożki nowego fasonu, nowe, pięknéj i mocnéj roboty sławnego majstra Moskiewskiego Rejmana, są do sprzedania w Aleksandrowskim Kadeckim korpusie, widzieć można i dowiedzieć się o cenie u furmana Kuczmina w tymże korpusie. 1. (107)

W HANDLU A. OLESZKIEWICZA w domu WP. Romera przy ulicy Wielkiéj naprzeciw remizy, otrzymano: świeży *kawior* rzadki i gęsty, *siemgę*, *jesietrzynę* świeżą i mało solną, *bieługę*, astrachańskie *wędzone rybki*, *śledzie* Holenderskie i *sardynki.* 3. (96)

3. Dnia 3 kwietnia bieżącego 1861 roku w Lidzkim powiecie, w majątku Zabłociu, będzie się sprzedawać przez licytacją bydła rogatego, rassy krajowéj udoskonaloéj, sztuk 180, oraz konie, uprząż, powozy rozmaite sprzęty i naczynia gospodarcze. (97)

ВИЛЕНСКІЙ ДНЕВНИКЪ.

Пріѣхавшіе въ Вильно съ 16-го по 20-го февраля.

Ковенскій Гражданскій Губернаторъ, Генералъ Маіоръ Хоминскій.

Въ д. Нишковскаго: Пом. Иванъ Борткевичъ, Константинъ Масловскій, Свѣнцянскій Уѣздный Предводит. Дворянства Свіонтецкій, Поручикъ Сумскаго Гусарскаго полка Умястовскій, пом. С. Струмилло, Командиръ Лейбъ Гусарскаго Павло Градзкаго полка Емануель, поручикъ Махвицъ, штабсъ-капитанъ Шмидтъ, Константинъ Шмидтъ, графъ Константинъ О'Руркъ, генеральша баронесса Розенъ, подполковникъ Матусевичъ, Андомиръ Пржибора.— Въ д. Махнаура: Предсѣдатель Ковенской Казенной Палаты Моресовъ.— Въ д. Бранта: Адамъ Жилинскій.— Въ д. Каца: Петрусевичъ, Іосифъ Витунскій.— Въ д. Пясецкаго: Адамъ Бартошевичъ, Карпъ. Курковскій, Французовичъ, губ. пред. дворянства Довгирдъ, Командиръ Ковенскаго гарн. бат. Жеребцовъ, Увѣзд. Пред. двор. М. Конча, пом. Иван Любанскій, Слотвинскій, Игнатій Таньскій, пом. Софія Каменская.

Выѣхали изъ Вильна отъ 16-го по 20-го февраля.

Пом. Александръ Корфъ, Францъ Корженевскій, Юлянъ Бокшанскій, Вильгельмъ Богуцкій, Казимиръ Коссицкій, Каэтанъ Халецкій, Генрихъ Домбровскій, Карпъ. Кублицкій, Петръ Бальмеръ, Антоній Гинтовтъ, Иванъ Вакульскій, подполковникъ Люціянъ Довгялло, пом. Ксаверій Довгялло, пом. Евстафій и Рышардъ Хмѣлевскіе, князь Енгалычевъ, ген.-маіоръ. Аверкьевъ.

DZIENNIK WILEŃSKI.

Przyjechali do Wilna od 16-go do 20-go lutego

Kowieński cywilny gubernator, jenerał-major *Chomiński.*

W d. Niszkowskiego: ob. Jan Bortkewicz. Konstanty Masłowski. Święciański powiatowy marszałek Świątecki. por. Sumskiego huzar. półku Umiastowski. ob. S. Strumiłło. dowódca lejb-huzarskiego Pawło-Gradskiego półku Emanuel. por. Machwic. sztabs-kapitan Szmidt. Konstanty Szmidt. hrabia Konstanty O'Rurk. jenerałówna baronessa Rozen. podpółk. Matusewicz. Andomyr Przybora. w d. Machnaura: prezes Kowieńskiéj izby skarbowéj Moresow. w d. Brandta Adam Żyliński. w d. Kaca: Petrusewicz. Józef Wituński. w d. Pjaseckiego: Adam Bartoszewicz. Karp. Kurkowski. Franciuzowicz. gubernjalny marszałek Dowgird. dowódca Kowieńskiego garnizon. bataljon Żerebcow. marszałek powia owy M. Koncza. ob. Jan Lubański. Słotwiński. Ignacy Tański. ob. Zofja Kamińska.

Wyjechali z Wilna. Od 16-go do 20-go lutego.

Ob.: Aleksandr Korff Franciszek Korzeniowski Juljan Bokszański. Wilhelm Bogucki. Kazimierz Kossicki. Kajetan Chalecki. Henryk Dombrowski. Karp. Kublicki. Piotr Wolmer. Antoni Gintowt. Jan Wakulski. podpółkownik Lucjan Dowgjałło. ob. Ksawery Dowgjałło. ob. Eustachy i Ryszard Chmielewski. książe Engałyczew jenerał-major Awerkjew.

Печатать позволяется. Вильно 21 февраля 1861 г.—Цензоръ статскій совѣтникъ и кавалеръ А. *Мухинъ.*

W Drukarni A. H. Kirkora i sp.